

ТАМБОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

№ 2 (май 2006)

ИЗДАНИЕ

Тамбовского отделения Союза писателей России,
Тамбовского отделения Литературного фонда России

Издание осуществлено за счёт средств
администрации г. Тамбова.

Главный редактор

Николай НАСЕДКИН

Редакционный совет

Валентина ДОРОЖКИНА

Людмила КОТОВА

Евстахий НАЧАС

Лидия ПЕРЦЕВА

Тамбовский альманах. № 2. Тамбов: Изд-во Тамбовского
Т 17 отделения ООП «Литфонд России», 2006. 256 с.

ББК 84Р

ISBN 5-7117-0381-1

Содержание

Иван ОВСЯННИКОВ – Николай НАСЕДКИН. **Писатели покоряют Internet**.....3

ПРОЗА

Юрий РАССТЕГАЕВ. Зона “ЧП” . <i>Главы из романа</i>	10
Валерий АРШАНСКИЙ. Два рассказа	58
Пётр АЛЁШКИН. Сны Ивана . <i>Рассказ</i>	80
Игорь ЛАВЛЕНЦЕВ. Куница . <i>Рассказ</i>	88

ПОЭЗИЯ

Семён МИЛОСЕРДОВ	93
Александр МАКАРОВ	101
Марина ГУСЕВА	108
Валерий ХВОРОВ	118

ДРАМАТУРГИЯ

Иван ЕЛЕГЕЧЕВ. На дне	126
------------------------------------	-----

ЮНОСТЬ

Роман КУЗЬМИН. <i>Стихи</i>	172
Елена ЛУКАНКИНА. <i>Стихи</i>	182
Александра НИКОЛАЕВА. <i>Стихи</i>	191
Антон ВЕСЕЛОВСКИЙ. <i>Стихи</i>	199
<i>О чём и как пишут молодые, или Блеск и нищета “Дебюта”</i>	206
1. Сергей КАЗНАЧЕЕВ. Бездомные дебютанты	207
2. Надежда ГОРЛОВА. Диффузия зяблика с веткой	212

ЮБИЛЕИ

Валентина ДОРОЖКИНА. “Полный восхищения и света” . К 85-летию поэта Семёна Милосердова.....	216
Лариса ПОЛЯКОВА. О поэзии Александра Макарова . (К 60-летию поэта).....	225

ТАМБОВУ – 370

Евгений ПИСАРЕВ. Усомнившийся Андрей . (А. Платонов в Тамбове).....	234
Людмила ПЕРЕГУДОВА. Московский университет и Тамбовский край	248



**Иван
ОВСЯННИКОВ**



**Николай
НАСЕДКИН**

ПИСАТЕЛИ ПОКОРЯЮТ INTERNET

Иван Овсянников: Николай Николаевич, расскажите нашим читателям об областной писательской организации, её нынешнем составе, о книгах своих коллег, планах на будущее.

Николай Наседкин: Два года назад было избрано новое правление нашего творческого Союза. В правление вошли Валентина Дорожкина, Валерий Аршанский, Евстахий Начас, Людмила Котова, Лидия Перцева и я. Сейчас у нас в организации 34 члена, средний возраст — около шестидесяти лет. Двум нашим патриархам Борису Панову и Алексею Шилину — за 80, самой молодой Елене Луканкиной — 24 года. Оценку работе правления давать не буду, это было бы нескромно. Пусть об этом скажут другие, могу лишь отметить, что она за эти два года активизировалась. Это заметили и в Москве, и в Тамбове.

Иван Овсянников — сотрудник областной газеты «Тамбовская жизнь», член Союза журналистов России.

Николай Наседкин — прозаик, литературовед, председатель правления Тамбовской писательской организации, секретарь правления Союза писателей России.

И. О. И всё-таки без оценки давайте расскажем, что удалось сделать, что сейчас в активе организации.

Н. Н. Многие из моих коллег (правда, не все) издали книги, а это по нынешним временам не так просто. Все, кто интересуется литературой, думается, обратили внимание на сборник стихов и прозы «Тамбовский писатель-2004». В нём мы представили практически всех членов нашего Союза, сопроводив их публикации краткими биографическими справками... Это своего рода визитная карточка организации. В конце прошлого года вышел из печати первый номер «Тамбовского альманаха», в котором представлено 19 авторов, в том числе и много молодых. Альманах намерены выпускать периодически. Начали издавать и свою литературную газету — первый номер «Цнинских просторов» тоже уже вышел, об этом сообщили-написали многие столичные издания, в том числе «Литературная газета», «Литературная Россия» и другие. Редактором утверждён поэт Евстахий Начас. Правда, мы не решили окончательно вопрос с финансированием дальнейших номеров.

И. О. С изданием книг и газет, кажется, проблем нынче нет?

Н. Н. Да, это так. Были бы деньги. Набирает обороты издательство, которое мы создали при Тамбовском отделении Литературного фонда России. Уже выпустили более 20 книг.

И. О. Кстати, хорошие книжки издаёте. Я имею в виду в данном случае их полиграфический дизайн. О содержании не берусь судить, не всё прочитал.

Н. Н. На мой взгляд, они хороши не только по оформлению, но и по содержанию. Макулатуру издавать не намерены. Наше литфондовское издательство приобретает авторитет у пишущих, имидж его повышается. У нас уже образовалась очередь на следующие издания.

И. О. Словом, набираете обороты...

Н. Н. Да, пора уже подумать о расширении издательского штата. Пока же приходится чаще всего одному роль Гуттенберга играть: не говоря уж о редакции — и компьютерное макетирование освоил, и дизайном обложек занимаюсь...

И. О. Как же вы только успеваете и писательской организацией руководить, да ещё свои книги писать?

Н. Н. Я уже сказал, избрано работоспособное правление. Без моего заместителя Валентины Дорожкиной я и не знаю, как бы обходился. Она очень много делает для организации, и, как вы сами понимаете, на общественных началах.

И. О. Словом, писатели взялись за гуж и дело пошло?

Н. Н. Дело не только в нас. Мы эти два года ощущали большую помощь со стороны областной организации и её главы Олега Ивановича Бетина, областной Думы, которую вот уже третий созыв возглавляет Владимир Николаевич Карев. Они нас поддерживают и морально, и материально: писатели получают творческие стипендии (пятьсот рублей в месяц), юбилярам выделяются средства на издание книг (только в прошлом году у нас было шесть юбиляров, в этом — два). Администрация областного центра также стала принимать участие в жизни нашей творческой организации: с её помощью издаётся «Тамбовский альманах». Всё, о чём я рассказываю, не является чем-то исключительным в нынешнее время. Мы стремимся равняться на писательские организации соседних областей, где давно уже есть и альманахи, и журналы, и стипендии. Вот мы и учимся у соседей, навёрстываем упущенное. И, кажется, кое-что у нас получилось.

И. О. По-моему, неплохо получилось.

Н. Н. Но я ещё не всё сказал. Долгое время главной головной болью нашей была арендная плата за комнату, которую мы занимаем в Доме печати. Средств на оплату, естественно, не было и нет, и комитет по управлению имуществом областной администрации регулярно напоминал нам о растущей задолженности. Грозили судом и всякими другими «непопулярными» мерами. Наконец областная Дума приняла решение и освободила нас от арендной платы за помещение.

И. О. Вот этой комнаты, в которой мы сидим и разговариваем?

Н. Н. Да. Но там хорошо сказано в решении: любого помещения государственной собственности, которое мы будем занимать. Опять же хочу сказать, что это давно делается в соседних областях, писательские организации освобождены от арендной платы.

И. О. Ну что ж, поздравляю... Это действительно большая поддержка со стороны администрации и Думы. Теперь всё от вас, писателей, зависит, чтобы создавать «нетленки»...

Н. Н. О «нетленках» мы ещё поговорим, а сейчас мне хотелось бы сказать ещё и руководству областного управления культуры и архивного дела огромное спасибо от имени своих товарищей. Особенно мы благодарны заместителю начальника Валентине Ивановне Ивлиевой, которая курирует нашу организацию. Она не по службе, а по душе помогает нам решать сложные организационные проблемы. Надеемся, что это содружество продолжится и в последующие годы.

И. О. Николай Николаевич, в начале нашей беседы вы сказали о

почтенном возрасте областной писательской организации. А как обстоит дело с подростом, с молодой сменой?

Н. Н. Есть очень способные молодые авторы. Мы их знаем. Недавно отметило своё двадцатилетие литературно-творческое объединение «Тропинка», которое все эти годы возглавляла и продолжает возглавлять Валентина Дорожкина. Продолжает работать «Радуга», у основания которой стоял поэт Семён Миросердов, сейчас её ведет поэтесса Татьяна Курбатова. Член нашего правления и замечательная поэтесса Людмила Котова создала подобный литературный кружок «Откровение» в рабочем посёлке Инжавино, ездит туда два раза в месяц. Подготовила со своими подопечными к выпуску третий альманах. И результаты этой работы с молодыми начинают сказываться. В прошлом году в Москве проходил 3-й Всероссийский слёт юных талантов «Дети Солнца». От нашей области конкурсный жёсткий отбор прошли сразу шесть молодых талантливых поэтов (на первом слёте было три наших представителя). Шесть из 32-х со всей России! Это о чём-то говорит. Наши девочки и мальчики очень хорошо показали в Москве. Недавно мне пришлось быть в редакции журнала «Наш современник» и от его редактора, известного поэта Станислава Куняева, услышал просто восторженные слова в адрес Маши Знобищевой, студентки ТГУ и воспитанницы «Тропинки». В 6-м номере журнала будет опубликована большая подборка её стихов. Кстати, недавно мы приняли в Союз писателей Алексея Багреева из Инжавино (тоже из «Детей Солнца»), а Маша — ближайшая кандидатка для приёма в Союз. У нас целая плеяда молодых талантов подросла, назову ещё Олю Кулькову, Сашу Николаеву, Лену Захарову, Романа Кузьмина, Гену Грезнева, Антона Веселовского... Мы намерены в этом году провести наконец областной семинар молодых талантов, посмотреть на них, поближе с ними познакомиться, выявить-открыть новых юных поэтов и прозаиков.

И. О. Но тут, наверное, неожиданностей больших не будет. Все они на виду.

Н. Н. Ну не скажите! Неожиданности как раз могут быть. Вот недавно сижу в этом кабинете, открывается дверь, и заходит незнакомый юноша. «Вы такой-то? Я принёс для публикации...» И достаёт из пакета кипу рукописей. Тут и рассказы, и очерки, и даже повесть. Живёт где-то в глубинке Кирсановского района, два-три раза публиковался в местных газетах. И знаете, паренёк не без способностей. А мы до этого ничего о нём не знали... Вот и думаем собрать их вместе,

поглядеть на них, взять на учёт, чтобы можно было с ними в дальнейшем работать.

И. О. В традициях писательской организации были массовые мероприятия: Дни и Недели поэзии, читательские конференции, просто встречи с читателями. А что сейчас?

Н. Н. Проводим обязательно и юбилейные вечера. и презентации вышедших книг, пользуемся любым поводом для встречи с земляками. За последнее время, например, прошли презентации «Тамбовского альманаха» и «Цнинских просторов» в Пушкинской библиотеке, в библиотеке имени Крупской. Кстати, в последней успешно работает литературный клуб «Свеча», который возглавляет член нашего правления Евстахий Начас. За прошлый год всего прошло таких мероприятий с участием писателей более ста.

И. О. В области или в Тамбове?

Н. Н. К сожалению, в основном в областном центре. Правда, проходили и в Мичуринске, и в Котовске, но этого совершенно недостаточно. Будем обязательно расширять нашу географию. Это в планах предусматривается.

И. О. Ну и в заключение, Николай Николаевич, о несделанном, о чём болит сердце, что ещё намерены осуществить?

Н. Н. Я всегда стремился, чтобы в Интернете был сайт областной писательской организации. Пока его нет по простой причине: никто не догадался подарить нам компьютер, а купить самостоятельно мы не можем. Но сдвиги есть. Недавно на сервере Тамбовского технического университета появилась очень неплохая страничка, посвящённая нашей писательской организации. Там есть сведения о её членах, и притом довольно полные. Единственно, чего нет, так это их произведений. Областная библиотека имени Пушкина, у которой богатый сайт в Интернете, постоянно даёт там материалы о жизни писательской организации (наших совместных с библиотекой мероприятиях), а сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы на сайте библиотеки посетители смогли прочитать выпуски «Тамбовского альманаха», сборник «Тамбовский писатель-2004», то есть получить полное представление и о писательской организации, и познакомиться с творчеством её членов.

И. О. Да это же огромная работа!

Н. Н. Да, огромная, но и прекрасная! И дирекции Пушкинской библиотеки мы говорим спасибо за дружбу с нами и поддержку. Сам я давно освоил Интернет и понял, какое это благо для пишущего!

И. О. Ну что же, успеха всем вам в освоении возможностей Интернета. Надеюсь, со временем появится у вас и свой компьютер. Что ещё планируете на ближайшее будущее?

Н. Н. Об альманахе и литературной газете я уже сказал. Есть ещё три проекта: выпустить к 370-летию Тамбова сборник прозы наших писателей, издать сборник духовной поэзии в память о безвременно ушедшем из жизни нашего товарища Игоря Лавленцева (это была его задумка: собрать в одной книге стихи, посвященные Богу, вере, православию), а также издать коллективный сборник всех наших девяти участников слётов «Дети Солнца». Ещё в этом году готовимся провести два юбилея коллег — Зинаиды Королёвой и Александра Макарова.

И. О. Ну а как обстоят ваши личные писательские планы?

Н. Н. Увы, времени на это остаётся теперь гораздо меньше, но всё же что-то делать пытаюсь. Подготовил к переизданию энциклопедию «Достоевский»: внёс в неё исправления, добавил кое-что, именной указатель составил — в столичных издательствах «Алгоритм» и «Эксмо» обещают переиздать в этом году. «Алгоритм» также заказал мне новую книгу о Достоевском с условным названием «Достоевский-пророк». Закончил новый роман под названием «Люпофь». Задумал детскую лирическую повесть о своём роскошном красавце и умнице коте Фурсе Ивановиче, за которым наблюдаю вот уже 12 лет. Это будет что-то вроде повести Троепольского о Белом Биме.

И. О. У нас в газете прошла информация, что у писателя Наседки на складываются хорошие отношения с польским издательством. Каковы перспективы на этот год?

Н. Н. Да, в конце прошлого года мой роман «Меня любит Джулия Робертс» (который только что вышел в московском издательстве «Сова») был издан и в Гданьске на польском языке. Я ещё раз убедился в огромной пользе Интернета для пишущего человека (именно по Интернету поляки вышли на меня и заинтересовались моим творчеством). Это же издательство готовит к выпуску мою энциклопедию «Достоевский», сообщают, что шесть русистов вот уже полтора года переводят её на польский язык. Там же собираются выпустить мой литературоведческий труд «Самоубийство Достоевского». В перспективе же хотят издать роман «Алкаш», знакомятся с только что написанной «Люпофью».

И. О. Николай Николаевич, и когда вы всё это успеваете!

Н. Н. Приходится успевать. Если я брошу писать, то на мне как на

писателе можно будет ставить крест. А у меня ещё немало замыслов теснится в голове. Успеть бы...

И. О. Мне остаётся только пожелать, чтобы товарищи по литературному цеху брали пример со своего председателя. Помню, как вы на презентации «Тамбовского альманаха» огласили письмо председателя Союза писателей России Валерия Николаевича Ганичева, в котором он писал, что выход этого издания — событие не только тамбовского уровня, но и российского. Думается мне, что вы вообще делаете со своими коллегами дело российского уровня. Пусть же и впредь не тупятся ваши перья!

Н. Н. Спасибо за пожелание.





Юрий РАССТЕГАЕВ

ЗОНА «ЧП»

Главы из романа

*Моему сыну
Алексею Юрьевичу
посвящается*

1. ЗАСАДА

Вспышка взрыва ослепила Павла. Он инстинктивно закрыл глаза и стремительно провалился вниз, в пучину, в бесконечность. Видавший виды расхристаный милицейский УАЗик, на котором ехала на задание опергруппа, замер. Затем он дернулся, поднялся на дыбы, словно норовистый ахалтекинец, осаженный властной рукой наездника, и опрокинулся набок в глубокий кювет серпантинистой, узкой горной дороги. Машина лежала на обочине, но ее заднее колесо, приподнятое над землей, все еще продолжало вращаться по инерции, будто по-прежнему, как ни в чем не бывало, мчало милиционеров по заросшему густым подлеском ущелью.

Юрий Расстегаев родился в 1949 году в посёлке Новая Ляда под Тамбовом. Работал на заводах, на комсомольской работе, много лет служил в милиции, в настоящее время работает в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Автор двух книг прозы и многих публикаций в коллективных сборниках. Член Союза писателей России.

Бесполезностью своего вращения оно в чем-то напоминало главную шестерню неожиданно давшего сбой механизма часов. Хотя шестеренка и исправно вращалась, но стрелки не двигались, так как лопнула ось маятника. Время замерло...

Нос машины был подчистую срезан, словно по нему прошелся испепеляющий, голубовато-блеклый огонек ацетиленового резака. Радиатор, искореженная передняя подвеска, скрученный в бараний рог капот, рваные остатки двигателя и крыльев — все это валялось в стороне, метрах в пятнадцати-двадцати. Видимо, заряд, выпущенный из гранатомета натренированной рукой боевика, угодил аккуратно в моторный отсек.

К Павлу медленно возвращалось сознание. Первое, что он начал воспринимать, были какие-то непонятные, скрипучие, душераздирающие звуки. Звук этот издавал бампер, нижний конец которого наподобие стрелки метронома ритмично раскачивался взад и вперед. Он то появлялся, то исчезал из глаз Павла, скрываясь в смердящем, угарно-смердном облаке, состоящем из смеси испарений моторного масла, бензина, взрывчатки и горящего металла. И именно этот звук, эти движения, этот удушающий запах гари вывели майора милиции из состояния оцепенения. Он понял, что случилось то, от чего на войне никто не застрахован, то, во что до последнего мгновенья не хочется верить. Название этому — смерть!

«Все, это конец! Неужто крышка? — подумал Павел. Он никогда не был склонен к излишней философии, но именно в эту минуту философские размышления на тему жизни и смерти на войне сами собой приходили на ум. — Смерть! Будь ты хоть генерал, хоть рядовой, хоть семи пядей во лбу — уйти от нее дано не всякому. В том, видимо, провидение, вышние силы. У каждого своя судьба! А ее просто так, за здорово живешь, на службу собственным интересам не призовешь!»

Усилием воли он заставил себя сконцентрироваться и понял: он лежал вниз головой в перевернутом автомобиле, притиснутый к водительскому креслу неимоверно тяжелым, богатырским телом оперуполномоченного уголовного розыска лейтенанта Григория Крылова.

— Гриша, ты жив? — осипшим, совсем не своим голосом спросил Павел.

Крылов не ответил, лишь застонал и крепко прижал свою широкую, будто лапоть, ладонь к правому боку. Глаза его налились кро-

вью, выпучились, невидяще уставились куда-то в одну точку. Затем он начал очумело озираться по сторонам, явно не понимая сути происходящего. Кровь заливала его зимнюю форменную камуфляжную куртку на ватной подкладке, и Павел понял, что лейтенант серьезно ранен и скорее всего контужен. Густая алая струйка стекала по заднему сиденью на пол, попадая на лицо и одежду Павла. Майор ощутил теплый приторный привкус чужой крови, ее специфический запах и поморщился, стремясь отвести голову в сторону, но это ему не удалось.

Его тело потеряло послушность, налилось свинцом, наполнилась тяжестью, сжимающей, давящей болью. С каждым мгновением становилось труднее дышать, голова гудела. Ценой невероятных усилий Павлу все же удалось высвободиться из удушающих объятий плена. Согнувшись, он попытался встать на ноги, опираясь о переднее сиденье. И когда ему это удалось, перво-наперво осмотрелся, ощупал себя — руки, ноги, голова целы. Кроме царапин и кровотокающей ссадины на лбу, все было в порядке.

«Кажется, цел! Живой! — радостно подумал он. — Теперь бы только выбраться, отползти подальше в лесок, а там мне и сам черт не брат. Где наша не пропадала! Автомат и патроны со мной, держусь как-нибудь!»

Но тут же обожгла мысль: «А что же будет с остальными?»

Теперь он мог до конца оценить ситуацию. Руководитель оперативной группы, следовательно подполковник Нестеров был мертв, Павел понял это сразу, каким-то шестым чувством. Обмякшее, бесформенное, покаленное взрывом тело Нестерова заклинило между правой передней дверцей и сорванным с направляющих креслом, на котором он так и остался сидеть. Лицо убитого сохраняло по-детски наивное выражение. Со слегка пухловатых, правильной формы губ как бы готов был сорваться вопрос: «А что, собственно, произошло?» Руки крепко прижимали к груди автомат Калашникова с укороченным стволом, вещь в горной местности весьма ненадежную и малополезную.

Милиционер-водитель Руслан Гвоздин по инерции ударился макушкой в лобовое стекло, протаранил его и ухитрился намертво застрять в стеклянном обрамлении. Покрытое мириадами паутинок-трещинок стекло плотно нахлобучилось на шею и язвило ее острыми, оскольчатými краями. Как ни пытался, сержант не мог высвободиться из ловушки — мешал подбородок, наподобие зау-

сенца рыболовного крючка упиравшийся в край триплекса.

Яркое полуденное зимнее солнце безучастно следило за мучениями милиционера, возвышаясь над горными хребтами. Светило вовсе не краснело от замысловатых трехколенных ругательств, которыми оглашался Кавказ и его окрестности. А если и заливала его лик краска стыда, то все равно красного на красном не видно.

— Мать-перемать! Чтоб тебя!.. Бога душу мать! — на чем свет стоит матерился Гвоздин.

Но это не помогало. Помочь ему можно было разве что снаружи, аккуратно разбив стекло вокруг головы и таким образом расширив до нужной величины отверстие. Павел подобной возможности был лишен.

Совсем неожиданно Павлу пришла на ум нелепейшая при данной ситуации строка из Пушкина: «Бой Руслана с головой», — и он чуть ли не в слух процитировал ее. Но отрадно было то, что чувство юмора, так присущее майору по жизни, не покинуло его и сейчас, в столь трудную минуту испытаний.

Павел дотянулся до радики, приложил к уху трубку, нажал на кнопку вызова, но не услышал привычного писклявого, режущего ухо тонального звука. В трубке стояла пугающая, зловещая тишина. «Передатчику крышка... Значит, и помощи ждать неоткуда, надо надеяться лишь на собственные силы», — подумал он.

Майор попытался выбраться наружу. Но это ему не удалось: по всей видимости, дверь заклинило. Тогда он пустил в дело автомат, но оружие, оснащенное легким откидным прикладом, слабо подходило в качестве ударного механизма. Павел с остервенением долбил ногами в дверь, толкал плечом, упирался спиной, дергал ручку — ничего не помогало. Тогда он упорядочил свои действия, довел их до автоматизма, подчинил строгому ритму, сопровождая каждый удар, каждое движение громким, размеренным звуком-выдохом. «Хоп, хоп, хоп!» — выдыхал он из своих легких. Когда и это не помогло, неожиданно, словно утопающий, ухватился за соломинку:

— Господи, помоги! Ну что тебе стоит! Господи! Не погибать же так бездарно! Я должен выбраться, — словно читая молитву со злостью и мольбой прошептал он.

По своим убеждениям Павел был атеистом, но где-то в самом дальнем уголке его души теплилась вера, ненавязчиво заложенная предками, свято и беспредельно верившими в Бога. И когда было

трудно, наступал край, когда не виделось выхода, майор вспоминал о ней, призывал на помощь, надеясь на понимание и поддержку всевышнего. Часто подобное помогало. И тогда он в мирской суете, вечных и бесконечных житейских заботах сразу же забывал о Боге. К своему стыду, он даже не удосужился до конца прочесть Библию.

Казалось, промелькнула целая вечность. Но на самом деле с момента катастрофы прошло не более минуты! Время для майора, похоже, остановилось вовсе, словно в звездолете, летящем со скоростью света.

Неожиданно по кузову хлестнула длинная автоматная очередь. Видимо, боевики не ограничились одиночным гранатометным выстрелом. Они не торопились скрыться с места засады и хорошо знали свою работу. Кто им мог сейчас помешать довести начатое дело до конца здесь, посреди горной дороги, по которой движение без специального пропуска давно закрыто? Разве что случайность. Как заправские охотники, они терпеливо выжидали добычу, чтобы добить наверняка. А в случае чего им не составит большого труда ускользнуть от преследователей известными только им тайными звериными тропами.

Пули прошли низом, почти у самой земли, пропоров, словно яичную скорлупу, жестяную обшивку кузова. Они жалящей строчкой резанули по тому самому месту, где полминуты назад, скрючившись, лежал Павел. «Видно, все же есть Бог на свете», — подумал он, забыв, что вспоминает об этом уже не в первый раз.

Автомат застрекотал снова. Майор милиции заметил, как Гвоздин беспомощно, вяло уронил голову на стекло, припав к нему левым ухом, словно прислушиваясь к биению сердца больного. Лицо его застыло в неподвижной гримасе, уставившись взором в самый зенит, в высокую, ясную даль. Лучи высокогорного солнца уже не казались Руслану пронизывающими и ослепляющими.

А Павел что есть мочи толкал и толкал вверх неподатливую груду железа. Он понимал, что следующая очередь может стать для него последней. Запросто, одним росчерком, единым клевком она поставит точку в его совсем еще не старой жизни. И так, вопреки всякому здравому смыслу, он пока еще жив, здоров и даже не ранен. Не может же так продолжаться вечно: в этом проклятом стальном гробу он как на ладони!

«Нужно выбраться и отползти в сторону», — опять назойливо

наплывала мысль, и он настойчиво и упорно, будто Сизиф, толкал и толкал вверх свой непокорный камень. И дверь, испугавшись его силового и словесного прессинга, внезапно сдалась! Неожиданно легко, скрипуче приоткрылась, пошла вверх, а затем, преодолев какую-то невидимую точку возврата, откинулась на петлях и гулко, как по барабану, ударила по металлическому кузову машины.

Павел по инерции, а скорее инстинктивно, высунулся в образовавшийся проем, затем снова нырнул вниз, обхватил руками безмерно тяжелое тело Крылова и попытался поднять его до уровня двери. Обмякшее туловище оперуполномоченного медленно поползло вверх, на секунду задержалось, зафиксировалось в определенном положении, видно зацепившись одеждой за какой-то острый выступ, безжизненно повисло на нем. Пользуясь этим обстоятельством, Павел поднырнул под него спиной, что есть мочи уперся ногами, всем своим существом. Казалось, сухожилия, мышцы, суставы, позвоночник не выдержат невероятной тяжести. Но он сдюжил, и Крылов, словно на гидравлическом подъемнике, начал медленно подниматься вверх. И когда центр его тяжести перевалил через линию борта, он медленно, словно куль с мукой, плюхнулся через край машины. Павел с облегчением вздохнул, вытер со лба холодный липкий пот. Медлить было нельзя ни секунды, путь к спасению был один. Майор рванул вверх свое обессилевшее, задыхающееся тело и вслед за Крыловым упал на холодную, скованную морозом каменистую, неприветливую кавказскую землю. Его ослепила, оглушила, стиснула мощная сила взрыва. Последнее, что он увидел — красновато-сизый столб огня, принявший в свои испепеляющие объятия кузов автомобиля, в котором мгновение назад он находился.

2. ТЕЛЕШОУ

Было время обеда, когда Алешка Пирогов вернулся из школы. Он швырнул портфель в угол небольшой комнатушки, где обитал совместно с сестрой Веркой, студенткой-первокурсницей местного университета имени Герцена. Забыв зайти в ванную, сразу направился на кухню, достал из холодильника кастрюлю с борщом и поставил разогревать на плиту. Затем отрезал здоровенный ломоть черного, слегка зачерствевшего хлеба, намазал терновым вареньем

и за обе щеки принялся уплетать вкусную кислотовато-сладкую краюху.

Он любил бывать на кухне, где чувствовался какой-то особенный, не передаваемый словами уют. В крохотной, размером два на два каморке, отгороженной посредине двухкомнатной угловой панельной «хрущевки», все было близко и знакомо. В самом углу почетное место занимал обшарпанный пластиковый стол. У стены чадила зачуханная, не поддающаяся уже никаким косметическим операциям газовая плита «Россиянка», рядом с которой была пристроена самодельная мойка. Немым, а когда ее открывали — скрипучим укором напоминала о себе скособочившаяся дверца висевшего над мойкой шкафа-сушилки.

Пол кухни был застелен окрашенной в ярко-рыжий цвет древесноволокнистой плитой, кое-где вспучившейся от пролитой на нее влаги. При ходьбе она мягко пружинила, словно мембрана ножного насоса, и как бы нехотя выдавала из себя шипящее: «Привет!»

Устаревшей марки холодильник «ЗиЛ» с горбатой дверцей, снабженной хромированной ручкой-замком, запиравшимся на ключ и намертво захлопывающимся, словно ловушка, вполне мог служить несгораемым шкафом или сейфом, поскольку продукты хранились в нем весьма редко. Только с полочки в его морозно-студеное, дрыгающееся от работы компрессора нутро помещалась ливерная колбаса, молоко, рыба и любимое лакомство отца — маринованные баклажаны. В остальные же дни он был пуст.

Не вставая с табуретки, Алешка без особого труда дотянулся до плиты, выключил газ, поставил на стол кастрюлю. Затем достал из шкафчика деревянную хохломскую ложку с намалеванными хвостатыми жар-птицами и прямо из всей посуды принялся хлебать вчерашнее варево, которое на скорую руку успела приготовить вечно занятая и постоянно спешащая куда-то по делам службы мать.

— Хоть бы мяса положила, а то одна свекла да картошка. Скорее бы отец из командировки вернулся, посытнее жизнь пойдет. Верка вон стипендию получает, а тут дадут два пятакка, чтоб заморил я червячка, — и будь здоров, ни в чем себе не отказывай! На эти деньги только на автобусе до школы и обратно проехать можно, — беззлобно ворчал он, завершая нехитрую трапезу.

Лешка кривил душой — на автобусе он давно уже не ездил. Стадион «Локомотив», где он в последнее время ошивался вместо школы, находился рядом с домом. Успехами в учебе Пирогов не отли-

чался никогда. Перебивался с двойки на твердую тройку, а с тех пор как уехал отец, и вовсе съехал на «пару гнедых». Впрочем, если быть объективным, причина плохой учебы парня больше крылась не в отсутствии у него способностей, а совсем в другом — в его непростых взаимоотношениях с учителями и одноклассниками. Пирогов-младший не терпел несправедливости и фальши, тогда как первые не только недооценивали его способностей, но и вечно «капали» родителям. Вторые насмехались и в свою очередь доносили на него учителям.

Поведение педагогов и одноклассников Лешка считал тяжким грехом. И будь времена Печорина и Грушницкого — он всех бы без исключения своих обидчиков, ябед и острословов вызвал на дуэль. А что можно сделать сейчас, когда двадцатый век к концу клонится? Не драться же со всем классом? Поэтому он не очень-то торопился в обшарпанное здание «храма прочных знаний» с выцветшим лозунгом «Учиться, учиться и учиться» на фасаде. Жизнь на стадионе намного интересней. Ворота настезь, взрослых никого, компания клевая! Вначале гоняли мяч, затем резались в «очко», конечно же, на деньги. Кто постарше, дегустировал пиво и «бормотуху», не говоря уж о сигаретах. Затем компания таких же, как и он, обалдуев шла болтаться в поисках приключений по захолустным улицам рабочей окраины со странным названием «Белый барак».

К нагоняям за школу Лешка адаптировался, словно эскимосы к лютому морозу — главное, чтобы шкура была потолще. А она у него — будь здоров! Ничем не прошибешь — ни уговорами, ни ремнем. Во время неприятных разговоров с отцом или шумных разборок с матерью, он четко усвоил золотое правило и строго его придерживался: главное, ни в чем не перечить, побольше молчать и обещать исправиться. Про себя же любил повторять привязавшиеся невесть откуда поговорки «Ученого учить — только портить» и «Век живи, век учишь, а дураком помрешь». Ни к шибко ученым, а тем более к дуракам Лешка явно не относился.

Еще он знал главное — родители его любили, и как бы он ни провинился, какие бы оценки ни принес в дневнике, как бы ни жаловались учителя на его выкрутасы, драть сына как сидорову козу отец не станет. В худшем случае отвесит подзатыльник, разразится незлобной, раздраженной руганью, осыплет, словно хлопьями морозного снега, словами-укорами:

— Когда же ты за ум возьмешься, дубина ты стоеросовая! Ведь

тебе уже второй десяток пошел! Чего тебе не хватает, оболтус ты этакий! Я в твои годы...

Что делал отец в его годы, Алешка до сих пор не знает, так как после этой магической фразы в воспитательном процессе наступала очередь матери:

— Лодырь! Всю кровь из нас высосал! — затем, резко меняя тон, переходила к уговорам: — Что же ты, сынок! Ведь мы с отцом для тебя стараемся, чтобы ты человеком стал! А ты опять... Учись!

На глазах матери появлялись слезы обиды и горечи. Лешка терпеть не мог, когда мать плакала. Уж лучше бы ругала!

— Ну что ты, мам. Я больше не буду! — произносил он традиционную дежурную фразу и тут же забывал о своем обещании.

После очередного нагоняя Лешка замыкался в себе, обижался на родителей, но в глубине души понимал их правоту. Поэтому сам себе давал обещание исправиться, но выполнять его отнюдь не стремился. Лень и бесхарактерность прочно и надолго засели в его долговязом, неуклюжем, словно у гадкого утенка, по-детски не оперившемся, не окрепшем теле. К тому же он так запустил основные предметы, что никакой репетитор не смог бы подтянуть до среднего уровня его знания. Наставить же на путь истинный и внести в его непутевую, хотя и неглупую голову систему учений могло разве что чудо. Лишь отдельные разрозненные искорки знаний, словно редкие звезды на начинающем смеркаться небосклоне, вспыхивали как бы сами по себе, отдельно от ее владельца, ученика шестого класса средней общеобразовательной школы номер 123 города Рынска Алексея Пирогова.

* * *

Родителей он по-своему любил и уважал. Особенно мать. Он сердцем чувствовал, что для нее он в любом случае, при самых невероятных обстоятельствах, при любой беде останется самым лучшим и дорогим человеком.

Юлия Михайловна трудилась библиотекарем в старейшей в городе детской библиотеке. Каждое утро она приходила на рабочее место, садилась за расшатанный с дореволюционным стажем рабочий стол, встречала ребятишек, выдавала и принимала тонюсенькие, в мягких обложках, зачитанные, заляпанные вареньем и масляными пятнами книжицы — «лапшу», как между собой звали этот хлам библиотекари. Затем занималась подготовкой литературы к

тематической выставке «“Приключения Буратино” — лучшая детская книга современности». А после обеда ей предстояла пренеприятная процедура под названием «хождение по мукам». Суть ее заключалась в том, что библиотекари, выписав из формуляров фамилии и адреса, шли посещать на дому нерадивых читателей, месяцами не появлявшихся в библиотеке и «заигравших» книгу — не только источник знаний, но и составную частицу библиотечного фонда строгой отчетности.

Волей-неволей приходилось знакомиться с родителями проштрафившихся читателей. В основном это были люди мало приятные, от общения с которыми душевного комфорта Юлия Михайловна не испытывала. Большинство из них работало на местном вагоностроительном заводе, производстве тяжелом, грязном и плохо оплачиваемом. Свой досуг они посвящали игре в карты, шашки, домино, дегустации самогона и самодельной «червивки». И лишь некоторые из них снисходили до чтения книг, в большинстве своем садово-огородного и эротического содержания. Очевидно, что родителей и их гениальных отпрысков проблемы расширения НАТО на восток, а тем более детской библиотеки волновали постольку-поскольку. Во всяком случае вести образ жизни книголюбцев и платить за утраченную литературу штраф в десятикратном размере никто не торопился.

— Пущай у государства об вас башка болить, а мой Стяпан и без всяких библиотек проживет. Нечего ему всякой наукой мозги сушить! — примерно такой или весьма схожий по содержанию монолог можно было услышать из смердящих сивушным перегаром уст старшего поколения махровых книжных задолжников.

В конце рабочего дня сил оставалось лишь для того, чтобы дойти до дома и в изнеможении повалиться на диван. Отдохнув, Юлия Михайловна принималась разбирать воз накопившихся за день домашних дел.

* * *

Пирогов-старший служил в Западном районном отделе внутренних дел города Рынска в должности заместителя начальника РОВД по кадрам и воспитательной работе, а попросту говоря, замполитом. Павел Степанович уже третий год перехаживал майором и как манна небесной ждал присвоения очередного звания. Как-то к случаю, будучи по делам у своего шефа «по вертикали», он имел нео-

сторожность напомнить о себе и глубоко пожалел об этом.

— Можешь вполне получить подполковника, если будешь себя правильно вести! — то ли в шутку, то ли всерьез обещало областное начальство в лице заместителя начальника УВД полковника Константина Ильича Сапогова. — А пока что особого рвения в службе ты не проявляешь. Инициативки побольше, побольше инициативки! Да и показатели у вас не ахти... Число наказанных сотрудников не уменьшается? Не уменьшается. Это — раз. Художественная самодеятельность хромает? Хромает. Это — два-с. Ну и все остальное там, прочее. Это — три-с. А ты говоришь, купаться! Ха! Ха! Ха! — весело пошутил Константин Ильич.

— Получается как в анекдоте про психов, товарищ полковник! — не принял шутливого тона Пирогов.

— Не понял?

— Чего ж не понять — дело ясное, что дело темное! Тем тоже в бассейн воды налить обещали, когда они с вышки прыгали.

— Опять не понял, — уже с раздражением в голосе повторил Сапогов.

— При том условии, конечно, если они себя хорошо вести будут, — вновь не замечая реплики начальства, продолжил Павел. — Но до сих пор не налили. Вот и мы у себя в райотделе пока тоже на сухую прыгаем. До той поры, как подполковника получишь — разобьешься или, что еще хуже, на голову покалечишься!

— Что ты этим хочешь сказать? Мы что тут наверху, врачи что ли, психиатры? Какие-то аллегории вечно у тебя, сравнения дурацкие, тоже мне, Миклухо-Маклай! Тебе бы только басни писать да байки рассказывать, а надо работать, работать и работать! — завелся полковник. — И потом, чего ты сам за себя просить приперся? Нескромно это, понимаешь ли! Пусть за тебя другие слово замолвят, пусть за тебя дела твои трудовые говорят, пусть сослуживцы, так сказать, ходатайствуют...

Павел Степанович понял, что попал «не в струю».

— Прошу прощения. Я слишком пошутил небрежно, — по-онегински произнес он. — Разрешите идти?

— То-то же! Каждый сверчок знай свой шесток! — нравучительно изрек Сапогов. — Идите!

Должность замполита, по «ментовским» меркам, — самая что ни на есть сволочная и неблагодарная. Майор каждый раз испытывал это на собственной шкуре, оказываясь как бы между двух ог-

ней. С одной стороны, сидишь как кость в горле у начальника райотдела милиции, ограничивая его ретивое самодурство, не позволяя в порыве единоначалия бездумно и бездушно, как на лесоповале, крушить людские судьбы. А с другой, выступаешь как строгий руководитель, блюститель порядка, сортирующий и оценивающий подчиненных по поведению, отношению к службе и всему такому прочему. А кому это может понравиться? Самому — и то неприятно вмешиваться в чужую судьбу, чего уж говорить про тех, кого это касается. Но по долгу службы приходится ...

Павел прекрасно понимал, что если не он, то кто же выступит защитником интересов людей в погонах, ведь больше милиционеру за справедливостью и помощью идти не к кому. Замполит для них и начальник, и профсоюз, и чуть ли не отец родной. И чтобы не потерять авторитет, надо быть одновременно требовательным компетентным командиром, либеральным сослуживцем, демократичным товарищем и при любых обстоятельствах, оставаться справедливым человеком. Да и чувство юмора — вещь весьма немаловажная в милицеских вопросах. В общем, в одном лице — ты и жнец, и швец, и на дуде игрец.

Павел Степанович, бесспорно, обладал даром работы с людьми. Он хорошо знал их характеры, манеру поведения, чувствовал настроение. В бесконечной навалке дел ухитрялся найти время, чтобы побеседовать с каждым по душам, вникнуть в накопившиеся по службе проблемы, поинтересоваться домашними делами. Решения принимал не торопясь, взвешенно, со всех сторон обмозговав и взвесив суть дела.

Так же ровно, не выслуживаясь, не щелкая каблуками, без подбострастия и угодливости вел себя перед начальством. Старался не «пылить» по пустякам, но, когда было нужно, твердо отстаивал собственные убеждения, не опасаясь высказать свое мнение, даже если оно и шло вразрез с высочайшими мыслями, чаяниями и указаниями.

Но обо всех этих тонкостях в служебных делах отца Лешка даже не догадывался. О своих служебных проблемах Пирогов-старший никогда в семье не рассказывал.

На работу Пирогов уходил рано, когда все домашние спали, а приходил поздно, когда те уже досматривали четвертые сны. Поэтому с отцом Лешка общался нечасто, лишь в редкие выходные. В воспитании сына он принимал весьма скромное участие, в основ-

ном давал ценные указания по телефону:

— Ты не забыл сделать уроки? Покушал? Какие проблемы? Зайди к матери, она поможет. Опять родительское собрание? Значит, нам с матерью краснеть! — таков был обычный набор отцовских наставлений.

Когда они вместе гуляли, ходили в кино, выезжали на рыбалку — этот день запоминался Лешке надолго, словно праздник. А праздники, как известно, бывают нечасто.

Однажды отец взял его на учебные стрельбы в милицейский тир, что располагался на старейшем в городе стадионе «Динамо». Все здесь выглядело необычно и таинственно. Длинная, узкая, плохо освещенная полуподвальная галерея с нависшим сводчатым бетонным потолком и такими же бетонными пуленепробиваемыми стенами напоминала огромный склеп. Причудливые изваяния мишеней с квадратными силуэтами головастых людей-призраков, маячивших вдали, еще более подчеркивали это сходство. Как и деревянные подставки для оружия, сколоченные в виде усеченных пирамид и напоминающие надгробия. Усугубляли и без того траурную обстановку засаленные черные шторы, предназначенные для задержания разлетающихся при выстрелах гильз и развевающиеся между подставками наподобие первомайских транспарантов. Пахло плесенью, терпким специфическим запахом селитры и пороховых газов.

Оглушающе, хлестко звучали выстрелы, похожие на разрывы новогодних хлопушек. Гулко, как из бочки, доносились команды, по которым милиционеры, будто оловянные солдатики на игрушечном поле, двигались, снаряжали оружие, вели огонь, перемещались от места стрельбы до мишеней и обратно. Когда отец вложил в маленькую ладошку пацана настоящее боевое оружие — отливающий синевой вороненый пистолет Макарова, тот был неопишимо счастлив. От растерянности и волнения он не знал, что делать, но рядом был отец, который спокойным голосом подбодрил:

— Не волнуйся, все будет нормально. Слушай внимательно команды и выполняй их.

— На огневой рубеж шагом марш! Заряжай! — скомандовал руководящий стрельбами, плотный коренастый усатый майор.

Это был товарищ Пирогова, заместитель начальника РОВД по службе Григорий Делегатский по кличке Деготь, данной ему за чрезмерную страсть к курению. Вместе с отцом Лешка шагнул на ли-

нию ведения огня.

— Майор Пирогов к стрельбе готов! — доложил отец, после того как зарядил пистолет и передернул затворную раму.

— Огонь!

После этой команды шестерка стрелков, находящаяся на позиции, стала неторопливо целиться. От неожиданно раздавшегося рядом громового раската выстрела Лешка вздрогнул, заволновался, заторопился тоже нажимать на спусковой крючок. Но поддерживающий сзади его тонкую, неокрепшую ручонку отец понял его движение и остановил, успокоил:

— Не торопись, сынок. Целься, как я тебя учил. На спусковой крючок нажимай плавно, не рви, иначе промахнешься!

Пистолет свинцовой тяжестью оттягивал вниз руку, ходил ходуном. Мушка и целик не совпадали, а прищуренный глаз слезился от напряжения. Как Лешка ни старался, он не мог точно прицелиться, конец ствола описывал круги и никак не хотел поймать центр мишени. Сухим щелчком раскатисто прозвучал неожиданный выстрел.

— Молодец! Так и продолжай, — отец принял из его рук оружие, чтобы дать отдых уставшей руке ребенка.

Второй и последующие выстрелы были более удачными. Лешка стрелял уже как бы со знанием дела, расчетливо, осознанно, не торопясь, тщательно прицелившись, словно заправский стрелок широко расставив ноги и развернувшись боком в сторону мишеней. Шустрые, верткие гильзы после выстрелов как ошалелые выскакивали из патронника, мягко ударялись в кулисы штор слева и справа от него, гасили скорость и в изнеможении, обессиленные, сползали по фланелевой ткани на пол, не попадая в лицо рядом стоящему стрелку. И Лешка по достоинству оценил это нехитрое приспособление, ранее казавшееся ему совершенно бесполезным атрибутом.

Завершив стрельбу, милиционеры не уходили, а оставались на своих местах, терпеливо ждали, пока выпустят пули последние стрелки. Конечно же, такими аутсайдерами оказались Пирогов с сыном. Затем руководитель стрельб осмотрел оружие у каждого стрелявшего, и все дружно направились к мишеням. Результаты были не ахти какие: два промаха, четыре попадания «в шестерку», три «восьмерки» и лишь одна пуля угодила точно в середину груди «квадратного человека».

— Эх ты, мазила Бабашкин, — дружелюбно подтрунивал над

сыном Павел. — Целых две пули в «молоко» угнал! До Ворошиловского стрелка еще далековато...

— Это дело наживное, — серьезно, без тени улыбки заметил Делегатский. — Потренируется малость — будет стрелять классно!

И, обращаясь к Лешке, приказал:

— Доложите результаты стрельб!

Лешка выпрямился и скороговоркой, как другие, отчеканил:

— Стрелок Пирогов поразил мишень восемью выстрелами с результатом 58 очков!

— Молодец, так держать! — похвалил руководитель стрельб.

В мишени, по которой стреляли отец с сыном, остались аккуратные маленькие дырочки-пробоины, будто проткнутые остро заточенным твердым карандашом. Эти ранки в груди и голове человека-мишени легко лечились. Роль лекаря успешно выполнял долговязый, рыжий сержант, помощник руководителя стрельб. Аккуратно нарезанными зелеными маленькими картонными заплатками он ловко заклеивал прорехи в его бездушной, бескровной, бумажно-фанерной плоти, которая вновь была готова принять в себя очередную порцию свинцово-стальной начинки. И Лешке было невдомек, что дырки от пуль на теле живого человека устранить-заштопать не так легко и просто, как на мишени, что за каждым метким выстрелом стоит увечье или смерть!

— Папа, а что это ты про какое-то молоко говорил? — поинтересовался он за ужином. — Вам что, в милиции за вредность молоко дают?

— Нет, сынок, не дают. Молоко — это когда... это когда смерть проходит мимо, — в задумчивости произнес отец.

Лешка ничего не понял, но переспрашивать не решился.

* * *

Пирогов-младший из современной музыки обожал тяжелый рок. Он с наслаждением слушал отрывистые, бухающие, визжащие, лающие, сводящие с ума композиции рок-групп, был ценителем жанра и с полным презрением относился к обычной эстрадной музыке, так называемой «попсе». В этой сплошной какофонии звуков он находил для себя какую-то изюминку, высокое искусство, творчество. В то время как родители, да и некоторые его сверстники, считали рок музыкой плебеев, всячески подчеркивали ее никчемность

и видели в громовени «ударных» и «духовых» лишь отзвуки природных катаклизмов. Иногда, когда дома никого не было и никто не мешал, Лешка позволял себе «оторваться по полной программе» и включал проигрыватель или телевизор на полную катушку. Музыка свирепствовала, низкие тона звуков бухали, будто неподалеку в неподатливый грунт копром усиленно вколачивали сваи. Они с содроганием входили в резонанс с частотой сокращения сердечной мышцы, заставляя ее биться медленней, почти остановиться. От этого парень испытывал непередаваемое чувство наслаждения и блаженства. Соседи, терпение которых быстро иссякало, частенько звонили в дверь или по телефону, стучали чем-либо металлическим по трубам отопления, будоража всю пятиэтажку и как бы аккомпанируя исполнителям. В конце концов меломан внимал их мольбам и несколько уменьшал громкость.

Отца не было уже три недели. В семье стало как-то неуютно, серо, пустынно, в отношениях с матерью и сестрой чувствовалось нарастающее день ото дня напряжение. Странно, ведь и раньше он не столь часто бывал дома, все больше на службе пропадал, но как-то непередаваемо ощущалось его присутствие и участие во всех семейных делах. Такие же чувства, наверное, испытывали сестра и мать.

Лешка переживал за отца: «Как он там на чужбине?» Но вслух своих ощущений не высказывал, чувствами не делился. «Что я, девчонка что ли?!»

Иногда украдкой доставал с книжной полки малый атлас мира, находил нужную страницу и подолгу с интересом рассматривал карту Кавказа. Вчитывался в названия населенных пунктов с непонятными, гортанными названиями и, как ни силился, не мог запомнить хотя бы пяток из них. Ему нравились изображенные коричневыми оттенками горы, напоминающие по очертаниям изорванную по краям овчину. Сколько красоты таилось в них, сколько романтики, добра и света.

— Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых еще не бывал! — замурлыкал Алешка. — Как правильно подметил поэт, как здорово звучит!

До того момента, пока отец не объявил домашним о своей митворческой командировке на Кавказ, ни о Северной Осетии, ни об Ингушетии он слыхом не слыхал...

По мнению пацана, основанному на собственном опыте и ста-

рой русской поговорке «Двое дерутся — третий не встревай», нечего нашим милиционерам-миротворцам из средней полосы на Кавказе делать. Сами между собой быстрее бы разобрались. Однажды он встрял между одноклассниками, выяснявшими отношения на перемене. Те перестали драться между собой и вдвоем здорово наkostenляли носителю мирных инициатив. Мнение так и осталось мнением. Это только так говорится, что устами младенца глаголет истина, да кто из сильных мира сего к нему прислушиваться будет...

Когда наступало время новостей, в семье, не сговариваясь, бросали все дела, какими бы срочными они ни казались, и усаживались перед телевизором. Об Осетино-Ингушском конфликте сообщали скупое. Цензура работала по старинке весьма эффективно, безжалостно препарируя репортажи, удаляя из них все самое ценное, реальное, правдивое. События преподносились легковесно, в урезанном, пресновато-подслащенном виде, не раскрывающем сути и причин происходящей братоубийственной трагедии. Вначале шли бодрые, полные экспрессии и артистизма слова диктора, словно речь шла вовсе не о войне, а о вручении премии «Оскар» или развлекательном телевизионном шоу. Затем за дело принимались приглашенные в качестве экспертов политики, историки и различного рода фигуры, входящие в так называемую золотую элиту общества. Лишь краем глаза Лешка всматривался в их холеные равнодушные физиономии, лениво продавливающие сквозь сито словоблудия фразы-пустышки. После них шли лидеры враждующих сторон с перекошенными от ненависти лицами, публично выясняющие перед телезрителями отношения. И лишь затем ненадолго мелькали кадры разрушенных взрывами, обгоревших руин когда-то добротных домов, скорбные лица беженцев, ставших заложниками междоусобицы.

Иногда показывали миротворцев — милиционеров и военных, спешащих на задание и оседлавших, будто грачи березу, холодную сталь бронетранспортера. На контрольно-пропускных пунктах люди в камуфляжной форме тщательно осматривали автомобили, исследовали содержимое грузов, скарба неизвестно куда и откуда бредущих бездомных людей. Лешка до боли в глазах всматривался в мерцающий экран телевизора — вдруг ненароком на секунду-другую промелькнет родное лицо. Ведь где-то здесь, в самом эпицентре «взрыва», среди этих людей находился его отец, командир семнад-

цати рынских милиционеров, направленных силой приказа усмирять разодравшихся кавказцев.

* * *

Алешка взглянул на часы — было без нескольких минут три, пора смотреть программу новостей. Он выключил проигрыватель, врубил телевизор, нашел нужный канал и удобно устроился на диване, подложив под голову вышитую сестрой красными квадратными узорами подушку — думочку.

Он краем уха слушал комментарии, в полглаза следил за происходящим на экране. Показывали сцену падения «Боинга-747» в одной из стран Ближнего Востока. Лешка давно уже адаптировался к человеческому горю, равнодушно воспринимал часто показываемые по телеку катастрофы, землетрясения, пожары, убийства с многочисленными человеческими жертвами. «Ящик» приучил его к какому — то необъяснимому состоянию спокойствия, бессердечия и заторможенности, хотя дело и касалось людской трагедии, страданий таких же, как и он, братьев по разуму. Он не раз слышал о том, что чужого горя не бывает, но часто слышал и другое: «Это твои проблемы». Равнодушие подростка не было болезнью, садизмом или прочим недугом. В данном случае просто срабатывала защитная реакция организма на лавину угнетающих психику сюжетов, заполнивших до отказа все телевизионные программы.

Но вот начались вести с Кавказа, и он сосредоточился, стал внимательным и серьезным. Шел обычный расклад передачи. Внезапно, на какую-то долю секунды, крупным планом показали забрызганное глинисто-желтоватой землей лицо человека. Как ему показалось, оно было безжизненно-бледным, даже серым, черты были плохо узнаваемы, скованы гримасой мучения и страха. Но Лешка узнал его сразу, вне всякого сомненья, это был его отец, майор Пирогов!

— Папка!

Лешка вскочил с дивана, подбежал к телевизору и во все глаза уставился в экран. Но камера уже «отъехала», и парнишка увидел на экране лежащий на боку развороченный остов автомобиля, шофера в камуфляжной форме, мертво застывшего за баранкой. На дороге посредине горного ущелья, обросшего по склонам густым сероватым, покрытым снегом подлеском, раскинув руки, навзничь лежал человек. В одной руке он держал оружие убийства — автомат, а

другая, повернутая ладонью вверх, как бы просила о милосердии и сострадании. Лица его было не разобрать. Поодаль с неторопливой деловитостью и сноровкой копошились какие-то люди, измеряющие, описывающие, рассматривающие и фиксирующие место происшествия на видео- и фото пленку. Это работала оперативно-следственная группа.

Симпатичная чернявенькая нарядно одетая в эксклюзивный костюм от Юдашкина дикторша, заливаясь веселым, приветливым, импортного пошиба голосом, не признающим букву «р», верещала, будто радуясь весьма удачному информационному поводу. Лешка ловил каждое ее слово.

— А... сегодня около полудня на догоге между Владикавказом и поселком Тагское Пгигогодного гайона Северной Осетии, пгоходящей по гогному ущелью, неизвестными лицами был обстгелян из гганатомета милицейский автомобиль. Имеются человеческие жегтвы. Вот что гасказывает с места события наш коггеспондент Ефим Шульнович, аккгедитованный в зоне Осетино-Ингушского конфликта.

— А...Ефим! Пгостите, нет связи! Ефим!

— Нелли!

— Слушаем вас!

— Мы находимся в горном ущелье, примерно посредине дороги, ведущей в поселок Тарское, километрах в десяти от Владикавказа. Что здесь произошло, вы, уважаемые телезрители, видите. Всмотритесь внимательно, какая трагедия, какая катастрофа! — будто радуясь случившемуся, вещал тележурналист. — Как нам сообщили из штаба ограниченной группы войск МВД России, принимающей участие в наведении общественного порядка в зоне Осетино-Ингушского конфликта, в автомобиле находилась группа старших офицеров, выехавших на оперативное задание. Но, как видите, неизвестные лица устроили засаду на самом повороте дороги. Они расположились в лесном массиве, вплотную примыкающем к трассе, и оттуда нанесли свой коварный удар, который, как видите, достиг цели! Судя по пробоинам в кузове машины, помимо гранатомета в дело было пущено автоматическое оружие, скорее всего, автоматы Калашникова. Но эту версию еще должна подтвердить экспертиза. Двое милиционеров погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести. Нападавшие с места происшествия скрылись, ведется их интенсивный поиск с участием верто-

летов. По непонятным причинам автомобиль передвигался без прикрытия бронетехники, как принято по инструкции. На месте работает оперативно-следственная группа, в которую входят представители МВД, прокуратуры республики, которая и даст в полной мере оценку случившемуся. Нелли!

— Спасибо, Ефим. А...более подгобно о пгоисшедшем инциденте вы узнаете в наших очегедных выпусках новостей, — с явным удовольствием пообещала диктор.

3. В ДОРОГУ!

Выпуск новостей давно окончился, а Лешка все стоял перед телевизором обалдевший, удрученный. Он не знал, что делать дальше. Из состояния оцепенения его вывел резкий звонок в дверь. От неожиданности он вздрогнул, понял, что пришла из университета сестра, и пошел открывать.

Верка чувствовала неутолимый голод. Весь день было не до еды: сначала отсидела три пары, а затем еще зачет по гражданскому праву сдать пыталась. Где там, у чумового доцента Тартинцева с первого раза разве сдашь? Только два часа с гаком потеряла напрасно.

На брата, его побледневшее, осунувшееся лицо она даже не взглянула. А если бы и заметила что-то необычное, то приняла как должное. Мало ли какие заморочки могут быть у пацана его возраста, небось, опять со школой нелады или подрался с кем.

— Верка, папку нашего убили, — дрожащим глухим голосом произнес Лешка.

Сестра застыла, как вкопанная.

— Ты чего мелешь, дурачок! Типун тебе на язык!

Но, взглянув на брата, его округленные, испуганные глаза, на которые навернулись крупные бусинки слез, сразу осеклась, поверила, что случилась беда. Брат стоял перед ней нескладный, скорбный, чем-то напоминающий подростков военного времени. Так же, как и они, не по годам взрослый, серьезный, с ярко выраженными заостренными скулами на лице. В его осанке внезапно проступила сутулость, даже сгорбленность, а движения были неторопливыми и размеренными. Неожиданно для себя она поняла, что Алешка уже давно взрослый парень, не малыш вовсе, как привыкли считать в

семье, что он по-своему неплохо разбирается в жизни, что он ничего не напутал, а тем более не шутит.

— Так, давай все поподробнее и по порядку. Рассказывай, откуда знаешь?!

— По телеку, сам видел.

— Что видел?

— Папку, убили его!

И Лешка, не в силах более сдержаться, заплакал навзрыд горячо, безутешно, вздрагивая всем телом. Он размазывал рукавом тоненькие соленые ручейки слез, пытаясь, словно щитом, отгородиться им от сестры, от всего окружающего мира. Но обжигающие щеки слезы текли и текли из его карих глаз, не подчиняясь сдерживающим усилиям. Верка не помнила, чтобы брат еще когда-нибудь так плакал, долго, обильно смачивая соленой влагой тонкую, почти прозрачную ткань рубахи. Это были не знакомые с детства слезы обиды, каприза, раздражения или ревности. Это были горестные слезы, слезы глубокой скорби и невосполнимой человеческой утраты. Так навзрыд плакали женщины во время войны, получив похоронку на сына или мужа. Не стыдясь своих слез, плакали бойцы, опуская боевых друзей в братские безымянные могилы. И она поняла: брат говорит правду.

* * *

Матери на месте не оказалось.

— Ушла к читателям, — кратко пояснила заведующая библиотекой Альбина Казимировна, молодящаяся, «вся из себя» интеллигентка. — Обязательно, обязательно сообщу, чтобы позвонила домой. Как только появится — немедленно! — посулила начальница Верке и тут же забыла о своем обещании.

Юлия Михайловна пришла только к вечеру, изрядно намаявшись в путешествии по району.

— Может, ты что-то перепутал, Алеша? — как бы с надеждой спросила она сына.

Но в глубине души понимала, что чудес на свете не бывает и тот ничего не перепутал. Пирогова в изнеможении опустила на табурет, с трудом сдерживая подступившие к глазам слезы и прилагая все усилия, чтобы не расплакаться. Сделать это перед детьми было бы недопустимым малодушием. И она овладела собой, прислушавшись к внутреннему голосу, который был солидарен с ней. «Спо-

койно, спокойно, — рассудительно твердил он. — Мать во всех жизненных ситуациях просто обязана держаться стойко. Перво-на-перво стоит успокоить детей, подбодрить, а не заставлять своими слезами еще более волноваться и переживать. Надо всегда надеяться на лучшее...»

Надеяться, ожидать лучшего — этот принцип, который был ее жизненным кредо, заставил собрать волю в кулак, перебороть себя. Она встала и направилась к телефону, набрала номер Григория Делегатского. В трубке раздались протяжные, заунывные, перемежающиеся с тишиной гудки. По всей видимости, никого не было дома. Звонить начальнику районного отдела милиции не было никакого смысла, он сам ничего не знал, а их не сложившиеся взаимоотношения с мужем не позволяли спрашивать его совета. Больше посоветоваться было не с кем, разве что со стариками, все легче будет на душе? Но ни родители Павла, ни ее собственные о злополучной командировке ничего не знали, и преждевременно беспокоить их она не стала.

Тогда она набрала телефон дежурной части УВД, но и там о происшествии ровным счетом ничего не ведали. Дежурный слыхом не слыхал, что на Северном Кавказе в зоне боевых действий находится отряд милиционеров.

— Тут в своей области забот полон рот! Приходите завтра, — как показалось Юлии Михайловне, равнодушно посоветовал он. — Из начальства никого нет, а я не в курсе. Может, к утру что-либо прояснится.

Очередной выпуск новостей начался в шесть часов вечера. Но сюжет о чрезвычайном происшествии не повторился. Не было его и в сообщениях других каналов. До глубокой ночи сидела семья у телевизора, не пропустив ни единого выпуска новостей ни на одном из пяти показывающих в городе Рынске телевизионных каналов.

Вещание закончилось, но Юлия Михайловна до самого утра не сомкнула глаз, обдумывала ситуацию, обращалась к Богу, самому надежному советчику и покровителю в подобных земных делах. «Хоть бы все было не так! Хоть бы не так! Хоть бы Алеша перепутал! Хоть бы обознался, ведь сколько случаев бывало! Может, кого другого показывали, ведь есть же люди, как две капли воды похожие, а эти военные, милиционеры, одеты в одинаковую пятнистую «камуфляжку» — все на одно лицо. Близнецы-братья, да и только!

Все-таки Павел политработник, а не оперативник, у него кабинетная работа, и он не станет разъезжать на машинах по горам», — успокаивала она сама себя и сама себе не очень-то верила. Разве усидит командир в укрытии, когда его бойцы идут в бой? Нет, ее Павел не таков... Он прятаться не станет!

Хуже нет неопределенности. Ждать да догонять — как права народная мудрость! Видимо, не ей одной пришлось испытать на себе всю горечь и тяжесть этих небольших, но емких по содержанию слов. Ждать! Казалось, целая вечность прошла, пока забрезжил рассвет. Ей он показался угрюмым, серым, неприветливым и зловещим. А как раньше она любила встречать его! Проснувшись, когда все еще спали, в ночной рубашке выходила на балкон. Скованный тишиной, утренней свежестью, прохладой, город молча встречал ее пробуждение. С верхотуры седьмого этажа, облокотившись о перила, чтобы лучше ощущать полет, она устремляла свой взор ввысь, в утреннее бледнолицее небо, встречая и провожая за горизонт неспешно плывущие причудливые облака, из-за которых приветливо подмигивало набирающее силу светило. Насладившись этой красотой, приступала к своим обыденным повседневным утренним делам: готовила завтрак мужу и провожала детей на учебу.

Она встала, укрыла сбросившего на пол одеяло пацана. «Вращалкин ты мой, вечно спит раздетым», — с теплотой подумала о сыне.

В восемь часов утра Юлия Михайловна уже находилась у главного входа в здание Управления внутренних дел, что на Варваринской площади. Особняк был старинным, добротным, в своеобразном архитектурном стиле. Когда-то он принадлежал церкви, в его многочисленных кельях до революции 17-го года обитали монахи, затем их сменили чекисты. Потом тех и других, видимо навсегда, потеснили милиционеры.

Генерала Смычкина, руководившего Управлением внутренних дел области, она встретила на пороге, объясняя ситуацию, вместе с ним вошла в огромный холл с мраморными ступенями, ведущими наверх к ажурной чугунной лестнице, настоящему произведению искусства начала двадцатого века. Постовой милиционер, заметив генерала, вскочил, растерянно приложил руку к виску. Он явно прозевал приход высокого начальства.

— Докладывает сержант Сидельников! Товарищ генерал, за время моего дежурства ничего не случилось! Существенных про-

исшествий не допущено!

Дежурный офицер с погонами подполковника, с красной папкой в руках, украшенной витиеватой тисненой надписью «Для доклада», громко цокая подкованными каблуками хромовых сапог, торопливо спускался по литым ступеням лестницы навстречу генералу. Вытянувшись, замер рядом с Юлией Михайловной. Она тоже невольно подчинилась строго заведенному порядку, опустила руки вдоль туловища.

Короткий доклад милиционера показался ей целой вечностью. Когда он закончился, женщина вновь попыталась обратить на себя внимание:

— Простите, товарищ генерал, я к вам по важному делу.

— Ах, да, — будто только сейчас заметил он раннюю посетительницу. — Сидельников! — приказал генерал постовому. — Проводите... как вас?..

— Юлия Михайловна.

— Проводите Юлию Михайловну в кабинет моего заместителя по кадрам.

И, повернувшись к Пироговой, пояснил:

— Он вас примет и подскажет, что делать.

И тут же коротко бросил подполковнику:

— Прошу на доклад!

* * *

Заместитель еще не пришел. Постовой извинился:

— Простите, мне надо смену сдавать. А вы подождите здесь, в холле. Он скоро появится, я его предупрежу, что у него посетитель, а то он может не сразу в кабинет заглянуть.

Юлия Михайловна присела в высокое, мягкое, обтянутое искусственной кожей кресло. Она вставала, ходила взад-вперед по коридору возле двери с табличкой «Заместитель начальника УВД по кадрам и воспитательной работе полковник Сапогов Константин Ильич», вновь садилась. Эта пластмассовая черная персональная бирка, приклепанная хромированными винтами к красивой дубовой двери и исполненная строгим готическим шрифтом, чем-то напоминала ей эпитафию на могильном памятнике. От подобного сравнения Юлию Михайловну бросило в жар, она вытерла носовым платком вспотевшее лицо, настроение еще более ухудшилось.

Коридор потихоньку заполнялся сотрудниками, они здоровались

между собой и сразу же расползались, исчезали в кабинетах-кельях за сводчатыми, оставшимися от монашеских времен дверями. Пирогова прошла в конец коридора, где на постаменте стоял бронзовый бюст Дзержинского. Лицо его было подсвечено снизу узкими пучками света. Самого светильника не было видно, поэтому казалось, что свет шел снаружи, как бы из-за стены, через узкое отверстие, проделанное в метровой толще кирпичной кладки. Падающие лучи подчеркивали монументальность изваяния, какую-то его неестественность, бледность. В глазах Юлии Михайловны оно выглядело таким же, как и она сама — усталым, озабоченным и растерянным, совсем не похожим на беспощадного и грозного защитника революционных завоеваний Октября. Особенно поражали глаза: блестящие, добрые и доверчивые. Они неотступно следили за ней, в каком бы ракурсе ни находились, словно выражали поддержку: ничего, все образуется, все будет хорошо. И Пирогова приняла близко к сердцу это молчаливое сочувствие, успокоилась. Глядя на персону «чекиста номер один» прошептала:

— Холодный ум, горячее сердце, чистые руки... Только, руки-то тут при чем?

Руки у скульптуры отсутствовали.

— Вы ко мне? — услышала она приятный басовитый голос.

Юлия Михайловна обернулась. Перед ней стоял высокий подтянутый человек в форме, примерно одного с ней возраста.

— Видимо, к вам.

— Проходите. Давайте знакомиться — полковник Сапогов!

Женщина несмело пожала протянутую руку, машинально отметив допущенную им промашку в этикете — дама должна подавать руку первой. Но сейчас ей было не до подобных тонкостей.

Она первой вошла в просторный светлый кабинет, со вкусом оклеенный светлыми недорогими обоями, и осмотрелась. Стены были украшены пейзажами, выполненными в стиле русской классики. Огромный светлой тонировки рабочий стол полковника, позади которого возвышался портрет все того же Дзержинского, аккуратно убран. Кроме настольной лампы, вычурного письменного прибора да красивой красной папки со справочными материалам, на нем ничего не было. Это в какой-то степени говорило о педантичности характера хозяина, его тяготении к порядку во всем, даже в мелочах.

Целая батарея телефонных аппаратов была аккуратно расстав-

лена на приставном столике, и чтобы позвонить, нужно было развернуться на девяносто градусов. Впрочем, сделать это было не трудно, так как кресло, несмотря на громоздкость, вращалось вокруг своей оси.

Вдоль двух огромных сводчатых окон стоял стол для заседаний, огороженный с двух сторон резными массивными дубовыми стульями. Два точно таких же стула стояли у столика для посетителей, приставленного перпендикулярно к основному столу. Юлия Михайловна присела на один из них.

— Я жена майора Пирогова. Вчера мой сын, он уже взрослый мальчик, почти тринадцать лет... — несвязно начала она.

Сапогов слушал молча, не перебивал. Он исподлобья следил за собеседницей, наклонив голову, как бы набычась. Проницательный взгляд его голубых глаз был направлен вверх узких очков и, словно рентгеном, просвечивал насквозь складную фигуру сидящей напротив молодой женщины.

Ему imponировал приятный низковатый голос собеседницы, манера правильно и складно выражать свои мысли. Ее лицо, открытое и миловидное, с ямочкой на подбородке, говорило о добром, покладистом характере, но, в то же время о ее способности принимать твердое, волевое решение. Нравилась ему и достойная манера держаться: без слез, истерики и хабальства.

Когда Юлия Михайловна замолчала, он встал, прошелся по кабинету до окна и обратно, обдумывая необычную ситуацию, с которой столкнулся впервые. Присел рядом на уголок свободного стула, на всякий случай уточнил:

— А парень ничего не перепутал?

— Абсолютно уверена, что ничего. Да я сама сердцем чувю, что там что-то неладное.

— Ну, сердце, знаете, такой прибор, который сбой дает, по себе знаю, — Он вынул из кармана таблетку валидола и положил под язык. — Вот, в кармане ношу, валидолоносец, так сказать, — попытался разрядить обстановку Сапогов.

Но это ему не удалось. Он встал, вновь подошел к окну, затем вернулся к столу и снял телефонную трубку.

— Соедините меня с дежурным по УВД, — попросил он секретаршу. — И принесите нам чаю.

Пока полковник разговаривал с дежурным, вводил в курс дела, вошла молодая девушка, одетая в красивое модное платье. Пирого-

ва рассмотрела на тонком интеллигентном лице аккуратно наложенный макияж. Запах дорогих французских духов сопровождал ее плавные, даже изящные движения. На небольшом жостовском подносе, который она держала в руках, дымились две фарфоровые чашки с ароматным чаем, аккуратно стояла фигурное печенье. Дополняли чайную композицию миниатюрная хрустальная сахарница и две изящных серебряных ложечки — настоящие произведения ювелирного искусства. А Юлия Михайловна-то по своей наивности думала, что высоким чинам прислуживает неуклюжий денщик типа бравого солдата Швейка, одетый в безразмерный, бесформенный мундир-балахон. И чай, как и водку, подает в алюминиевых кружках.

Резко завершал зуммер телефона, заставив ее вздрогнуть. Сапогов снял трубку. Из разговора она поняла, что звонит дежурный. Связаться со штабом группы войск МВД в Северной Осетии и Ингушетии не удалось.

— Повторите попытку по «ВЧ». Что значит правительственная связь занята? Когда освободится, вновь пробуйте связаться с Владикавказом! Такая возможность появится не ранее, чем через полчаса? Что ж, придется ждать. Надеюсь, вы понимаете, как это важно? То-то же! Я тебе дам, выше головы не прыгнешь! Прыгай! — попытожил Сапогов и положил трубку.

Наступило время обеда. Связь с Владикавказом отсутствовала. С утра у Юлии Михайловны не было во рту маковой росинки, но чувства голода не испытывала вовсе. От нечего делать, она принялась осматривать наглядную агитацию, что висела в коридоре. Взгляд ее скользнул по Доске почета, на которой, как в старые добрые времена красовались ударники милицейского труда, и задержался на знакомом лице Григория Делегатского. Пирогова обрадовалась.

Почти семь лет Павел и Делегатский просидели в одном кабинете. Иногда, когда она звонила мужу на работу, трубку брал Григорий Александрович. Он тщательно записывал все, что требовалось передать, и не было случая, чтобы хоть единожды забыл сообщить Павлу о звонке. Потом районный отдел милиции расширился, переехал в здание бывшего райкома партии, где каждый из сослуживцев получил отдельные служебные апартаменты.

От Доски почета женщина перешла к стенду лучших наставников молодых милиционеров. И здесь, в самом центре фотографии-

ческого поля, красовался точно такой же снимок усатого сослуживца мужа.

«Удивительно положительный милиционер, этот Делегатский! Раз везде висит, значит, в авторитете у начальства, не то что мой правдоискатель. Вечно чего-то добивается для других, требует и вечно во всем оказывается козлом отпущения. Дождался — через полгода на пенсию уходить, а он, как кур в ощиц, на Кавказ угодил!...»

* * *

Время близилось к вечеру, а Юлия Михайловна все сидела в приемной заместителя. Только сейчас до нее дошло, что она забыла отпроситься на работе. Теперь за прогул здорово нагорит от строгой начальницы. И поделом!

От невеселых мыслей ее оторвала секретарша:

— Вас приглашает Константин Ильич, — начальственным тоном произнесла она.

И то ли от этих слов, то ли от какого-то нехорошего предчувствия, а может быть, попросту от голода у Пироговой сжалось сердце и слегка закружилась голова.

— Должен вас огорчить. Из Владикавказа на наш запрос пришла шифровка, — виноватым тоном произнес Сапогов. — Но ясности в ней мало. Вот, ознакомьтесь.

И он протянул женщине серовато-зеленый бланк телеграммы. Дрожащими руками она взяла листок со строгим прямым печатным шрифтом на телетайпных полосках и прочитала: «7 декабря 1992 года в 13 часов 30 минут на дороге, проходящей по горному ущелью недалеко от г. Владикавказа, совершено дерзкое нападение на милицейскую машину, в которой находились офицеры милиции. Двое членов оперативной группы погибли, двое получили тяжелые ранения и в настоящее время находятся на излечении в военном госпитале города Владикавказа. Состояние раненых стабильное. Ведутся поиски боевиков. Фамилии пострадавших и убитых сотрудников выясняются. Начальник штаба полковник Малинкин».

Юлия Михайловна еще раз прочла телеграмму. По сути, ничего нового она в себе не принесла, кроме подтверждения того, о чем рассказал ей Алешка. Жив ли Павел или оказался в числе тех двух несчастных? В худшее она верить не хотела, а в лучшее — не мог-

ла. Она также не уразумела, что означало выражение: «состояние раненых — стабильное». Стабильное плохое или стабильное удовлетворительное?

— Стабильное — значит, постоянное, надежное. Я так думаю, — с уверенностью произнес Сапогов. — А фамилии неизвестны, так всякое бывает, война! Из гранатомета по ним, это не шутка. Может, документы сгорели, а может, просто с собой не захватили, да мало ли что. Поэтому и не сразу их опознали, ведь там с каждого бора по сосенке собрано, со всей России-матушки. Но это дело времени, все выяснится. А вдруг ваш муж жив и здоров и к данному происшествию вовсе не причастен?

Он и сам не верил в бесспорность своего утверждения. Юлия Михайловна все поняла, но была благодарна полковнику за это лукавство.

— Нет, я ждать не могу. Не могу и не буду. Надо все разузнать, выяснить точно. Вдруг ему требуется моя помощь? Там же война, а нужен уход, питание, с лекарствами трудности. Он без меня пропадет!

— Там есть кому позаботиться, не на необитаемом острове находится. Чего зря деньги катать, они вам и тут пригодятся.

— Нет, мне бы все-таки лучше поехать к нему.

Пирогова умоляюще взглянула на заместителя. Он понял, что она хотела попросить, но ответил не сразу.

— Все, что от нас потребуется, мы сделаем, так что не волнуйтесь. А вам сейчас лучше быть дома, ребятишки, поди, заждались.

— Дело не в деньгах, деньги я найду, займу в конце концов. И дети уже взрослые, справятся без меня. Мне бы документы какие от вас — удостоверение или справку. Как без них?

— Хорошо, давайте все отложим на завтра. На свежую голову всегда легче принимать ответственные решения. Может, что нового появится. А пока вам надо отдохнуть. Главное — не волнуйтесь, утро вечера мудренее.

Юлия Михайловна вышла из кабинета, торопливо заспешила к выходу. В голове пульсировало: «Жив ли Павел? Если жив, то ему нужна помощь, моя помощь. Ему плохо, совсем плохо. Надо ехать в Москву, там подскажут, что делать, там все знают!»

Внезапно ее окликнули по имени-отчеству. Она удивленно оглянулась, остановилась. К ней подошла средних лет роскошная блондинка с ниспадающими на плечи волнистыми волосами. Локоны

почти полностью прикрывали нашитые на китель зеленые с малиновым просветом погоны капитана внутренней службы.

— Вы жена Павла Степановича? — приветливо поинтересовалась незнакомка. И, не требуя ответа на свой риторический вопрос, продолжила: — Мы вот здесь, в отделе сигареты достали и сливочное масло. Возьмите, у вас дети...

— Зачем, не надо, у нас все есть, мы ни в чем не нуждаемся.

— Возьмите, возьмите, мы от чистого сердца. Да и Сапогов приказал.

— Благодарю вас, не надо.

К горлу Юлии Михайловны подступил комок, непрошенные слезы навернулись на глаза. Женщина-капитан, видимо, осознав нелепость подачи, но все же не в силах скрыть обиды за недооценку своих благих намерений, молча сунула полиэтиленовый пакет в руки растерявшейся Пироговой и, развернувшись, поплыла игривой походкой обратно в свой кабинет.

«К чему здесь какие-то сигареты? Павел никогда не курил, даже в детстве...» — думала Юлия Михайловна, стоя в переполненном рейсовом автобусе, едва тащившемся на далекую городскую окраину.

* * *

Ребятишки, сразу повзрослевшие лет на десять, едва дав раздеться, бросились к матери с расспросами.

— Пока ничего не известно, — с горечью пояснила та. — Завтра же поеду в Москву, все там разузнаю, а там посмотрим. Ты, Вера, за старшую в доме остаешься, гляди брата не обижай!

— Как же, обидишь его, вон он какой лось вымахал!

— Сама лосиха! — парировал выпад сестры Алешка, но тут же осекся, чувствуя неуместность словесной потасовки, столь привычной в их отношениях.

С утра Юлия Михайловна зашла на работу, рассказала заведующей. Та поддержала решение ехать в Москву.

— А если понадобится, то и к мужу на Кавказ поезжайте. Я советую взять отпуск без содержания. Пока на две недели напишите заявление, а если что, то мы тут без вас продлим, не беспокойтесь, — заверила Альбина Казимировна. — План за вас тоже выполним, и по посещаемости, и по культурно-массовым мероприятиям, так что в отстающих ходить не будете.

Она ненадолго вышла из кабинета и вскоре возвратилась, протянула Пироговой тонюсенькую стопочку денежных купюр.

— Вот, возьмите, немного собрали на дорогу, кто сколько мог. И заявление на материальную помощь оставьте. Я перед директором нашей библиотечной системы похлопочу. Деньги ребятишкам передадим, заодно и проведем, как они тут управляются. Так что не волнуйтесь, главное, чтобы там все хорошо сложилось.

— Спасибо! — от души поблагодарила Юлия Михайловна.

До сегодняшнего дня она считала заведующую бездушным, черствым человеком, «синим чулком». А вот поди ж ты, как оказалось... Видимо, и впрямь люди познаются в беде. Но уж лучше бы ее не было, беды-то!

Сапогов встретил Юлию Михайловну как старую знакомую.

— Значит, все-таки надумали ехать? Ну, ну. А я-то, грешным делом, надеялся, что передумаете. Сейчас спокойно. В Северной Осетии и Ингушетии объявлено чрезвычайное положение. В Чечне не поймешь, что творится. Почти все поезда на Кавказ из Москвы отменили. Ну куда вы поедете искать приключения на собственную голову? Положим, до Москвы мы вас подбросим, наши товарищи как раз сегодня едут на совещание в министерство. Место в машине, я думаю, у них найдется. А вот дальше как, не знаю...

— Там посмотрим, главное, все прояснить. Если надо, я до самого Владикавказа пешком идти готова. Поездом до Ростова доберусь, а оттуда уж совсем близко, на попутках как-нибудь или, может, автобус какой ходит. А повезет, и поезд подвернется.

— Значит, не убедил?

— Не убедили.

Полковник встал, по обыкновению подошел к окну и уставился пристальным взором в переплет огромной сводчатой старинной рамы. Картина городской жизни за окном его вовсе не интересовала, он просто не спеша обдумывал ситуацию. Пироговой показалось, что он забыл про ее присутствие.

— Хорошо. Раз так, то я, пожалуй, на всякий пожарный случай, напишу записку своему знакомому ингушу Мусе Гостоеву — с ним вместе в академии учился. Полковник, теперь в МВД Северной Осетии начальником отдела работает, к нему обращайтесь, он и с гостиницей поможет, и так, в случае чего. А если вдруг неразрешимые проблемы возникнут, мне звоните, хотя связь сами знаете какая, прямо скажем, никудышная.

Сапогов связался с отделом кадров, в кабинет вошел высокий стройный майор в зеленой форме.

— Аленкин, выпишите жене нашего сотрудника майора Пирогова командировку в Москву на 3 дня с сегодняшнего числа. Впрочем, еще одну командировку во Владикавказ, но число не ставьте. Вам ясно?

— Так точно!

— Раз ясно, то выполняйте!

Затем, уже обращаясь к Юлии Михайловне, пояснил:

— Командировка — это так, фикция, на всякий случай, иначе в министерство не пустят. Оплатить ее навряд ли получится. Финансисты сказали, что не положено. Вот если бы вы в Москву или на Кавказ в санаторий ехали, тогда другое дело. А так — не положено.

— И на том спасибо.

— Ну, как говорится, чем богаты, тем и рады. Ни пуха, ни пера!

Пирогов вышел из-за стола и мягко пожал протянутую для прощания руку Пироговой.

— К черту! До свидания, Константин Ильич!

Глядя вслед уходящей женщине, Сапогов опять поймал себя на крамольной мысли: «Нет, что ни говори, а есть женщины в русских селеньях с красивою свежестью лиц!..»

4. МИНИСТЕРСТВО

По дороге почти не разговаривали. Душевного контакта, какой обычно возникает между попутчиками, не получилось. Милиционеры, два полковника (Александр Иванович и Александр Степанович, Сашхен и Альхен, как она их по-книжному окрестила), постоянно что-то прокручивали в уме, видимо, пытались сосредоточиться на предстоящем отчете по итогам работы за уходящий 1992 год. Им явно было не до нее. А Юлии Михайловне вовсе не было никакого дела до забот высокого милицейского начальства. Она думала о своем: «Как там Павел, жив ли, ранен или, как предположил полковник Сапогов, вовсе не имеет к происшедшему никакого отношения? Если он ранен, как поскорее доехать до госпиталя, погрузиться в хлопоты по его выздоровлению. А если, не дай Бог, убит...»

Что делать в подобном случае, она не знала и не хотела верить в

трагический расклад ситуации. Еще она думала: «Почему именно мой муж, а не кто-то из этих холеных, упитанных кабинетных милиционеров поставлен командовать отрядом? Он там, на Кавказе, а они, как ни в чем не бывало, преспокойно разъезжают до самой столицы на персональном служебном авто. Ближний свет, ехать за пятьсот верст киселя хлебать, поездом намного дешевле бы вышло...»

В половине девятого утра они были уже в столице на Житной улице, возле здания МВД России. Водитель, довольно пожилой прапорщик, Кузьмич, как его всю дорогу называли милиционеры, нашел удобное место на стоянке и припарковал машину недалеко от огромного коробчатого здания, где, по всей видимости, и должно было состояться совещание, на которое были вызваны полковники. Догадка Юлии Михайловны оказалась верной. Они тоже вышли вместе с ней из машины и направились к массивным дубовым резным дверям министерства.

На посту в вестибюле их встретили вооруженные автоматами милиционеры, вид которых несколько обескуражил Пирогову. «К чему в самом центре Москвы эти вооруженные люди? Не война же? — но тут же сама себе возразила. — Как не война, а положение дел на Кавказе? А августовские события прошлого года! Наверное, здесь сосредоточены важные секреты со всей страны, а секреты надо хранить, для этого они и существуют».

Один из попутчиков (Альхен) сразу же попрощался, вежливо пожелав успеха. Второй, сидевший в машине вместе с ней на заднем сиденье, ненадолго задержался. Ему было явно неловко уйти вот так запросто, бросив на произвол судьбы свою попутчицу. И он, как бы оправдываясь, пояснил:

— Нам надо успеть, время поджимает, заседание коллегии назначено на девять часов. Опаздывать здесь не принято. В случае чего, окончится заседание, и я помогу разобраться в ваших делах, если хотите, подождите меня внизу, в холле.

— Да нет, благодарю, я уж сама как-нибудь попытаюсь, чего зря время терять.

— Ну, как знаете. Назад в Рынок с нами собираетесь?

— Пока не ясно.

— Ну, тогда встречаемся здесь, у входа, часиков так... в семнадцать. Впрочем, точно и сам не знаю, как освобожусь. В управление зайти надо, и кое-какие дела жена поручила решить. Но, ду-

маю, к этому сроку управлюсь. Давайте сверим часы — на моих без четверти девять. Хотя, могут поступить вводные задачи — и придется заночевать в столице. В случае чего, ищите нас в гостинице «Комета», что на проспекте имени нашего земляка, как его, Вернадовского.

— Вернадского, — поправила Пирогова.

— Верно, Вернадского.

Полковник попрощался, грациозно, словно породистый рысак, кивнув головой, и с чувством исполненного долга торопливо направился к лифту. Вскоре он был проглочен раздвижными кладающими челюстями вместительной кабины.

Юлия Михайловна не просто испытывала чувство одиночества, она была подавлена, разбита и морально, и физически. Сказывалась и усталость от бессонной ночи в пути, и неясность относительно мужа, и неопределенность ее теперешнего положения. Она попросту не знала, что предпринять, что делать, куда идти. Ответы на эти вопросы скрывались где-то здесь, в этом огромном шестнадцатипятиэтажном здании.

Дежурный прапорщик, проверив ее паспорт и командировочное удостоверение, потребовал:

— Вещи сдайте в камеру хранения! С такой сумкой, как у вас, вход в здание запрещен! Камера рядом, за углом, направо.

Чтобы выйти обратно на улицу, ей долго пришлось стоять у двери. Навстречу нескончаемой вереницей неслась лавина людей в милицеейской, военной и гражданской амуниции. Работники центрального аппарата МВД тютелька в тютельку поспевали на службу. У многих из-под полы пальто виднелись форменные брюки, и это говорило о том, что они стеснялись ездить в общественном транспорте в милицеейском облачении. А может, попросту боялись, ведь форма обязывала ко многому: и гражданину помочь, и нарушителя урезонить, и преступника задержать. А «по гражданке» можно мимо пройти, ни во что не вмешиваясь.

В пять минут десятого поток ослабел, превратившись из бурной горной реки в едва заметный ручеек. «Да, чиновников тут уйма! Не то что в райотделе! Павел иногда жаловался, что ему здорово достается от начальства за некомплект среди личного состава, особенно среди участковых и оперуполномоченных, где текучка кадров особенно велика».

— За хранение с вас двести рублей, — сразу распознав в ней

провинциалку, пробасил толстомордый кладовщик, дожевывая бутерброд с копченой колбасой.

По его благодушной улыбке было видно, что он перед самым ее приходом успел пропустить стаканчик «мурцовки» и славненько опохмелиться. Он явно вымазживал с нее лишнюю полсотню, чтобы прикупить новую порцию спиртного.

Юлия Михайловна подошла к уже знакомому прапорщику. Тот не узнал ее или сделал вид, что не узнал, вновь тщательно проверил документы, повертел в руках командировочное удостоверение.

— Посоветуйте, к кому мне обратиться, мне надо узнать...

— В дежурную часть, там подскажут, — не дослушав, перебил страж порядка. — А мое дело — соблюдать пропускной режим. Я вот тут с вами разглагольствую, а за это время в дверях уже очередь образовалась. Так что, извините. А в «дежурке» все знают, — заверил он Юлию Михайловну. — Пройдите вон туда, — и он неопределенно взмахнул рукой.

Пирогова прошла по широкому вестибюлю, не торопясь осмотрелась. Слева от центрального входа располагалась раздевалка с длинными рядами вешалок. Здесь же, неподалеку, находился актовый зал, который частенько показывали по телевидению во время концерта ко Дню милиции и различного рода совещаний с приглашением членов правительства. Справа был ход на второй и последующие этажи и длинная сплошная стена, украшенная наглядной агитацией. Именно на нее показывал прапорщик, когда пояснял, как найти дежурную часть.

Пройдя вдоль вестибюля до лифта и упершись в перпендикулярную стену, Юлия Михайловна растерялась — дежурной части на первом этаже она не обнаружила. Пирогова вернулась назад, внимательно осматриваясь по сторонам, но привычного окна из органического стекла с открывающейся дверцей, которое привыкла видеть в райотделе, не было. Не было и знакомого силуэта дежурного, всякий раз окликающего посетителей: «Вы к кому? Что случилось?»

Юлия Михайловна вновь обратилась к постовому:

— Товарищ прапорщик, тут нет никакой дежурной части.

Тот осклабился:

— А, это опять вы? Вот бестолочь гороховая, я же, по-моему, ясно объяснил. Смотрите внимательней, без окон, без дверей, полна горница людей — это про нашу «дежурку» побаска. Да и зачем

оно, окно, когда связь есть. Это вам не районное отделение милиции, заявления о преступлениях тут не принимаются. Здесь министерство, — нараспев протянул прапорщик.

— Да я понимаю, что не стройконтора. Только не ясно, почему так запрятались — не найти.

— Вы что, а режим секретности? Порядок есть порядок! Вы вон ту дверь видите? — постовой вновь указал пальцем на стену. — Подойдете, нажмете на кнопку — выйдет бабка!

— Какая еще бабка?

— Совсем шуток не понимаете или прикидываетесь? Тоже мне, «заброшенная деревня», даже и сказку о Золушке не читала. Или про Красную шапочку...

— Да нет, почему же, читала, — растерялась Пирогова. — Только при чем здесь дежурная часть?

— А при том. Подойдете поближе и увидите.

Юлия Михайловна вернулась назад к стене, присмотрелась внимательней и только тут заметила массивную металлическую дверь бункерного типа, заподлицо вмонтированную в стену вестибюля, возле которой аккуратным маленьким пятнышком прорисовывалась кнопка электрического звонка, замаскированная под бежевый цвет стены. Ей сразу стал ясен смысл иносказательного разъяснения милиционера.

Она с раздражением, словно стремясь раздавить ее, как вредное насекомое, нажала на кнопку, будто та была единственной виновницей всех ее неурядиц. Прошло минуты две, но ничего не изменилось, никто не вышел. Она позвонила вновь, снова подождала, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Никакой реакции не последовало. Юлия Михайловна осмелилась нажать в третий раз и вздрогнула от резкого неприветливого голоса за дверью:

— Ну, чего звонишь? Я же не глухой и не автомат, нажала один раз — и ожидай. А чего трезвонишь, когда я тебя на телеэкране прекрасно вижу. Вы к кому, чего надо? Говорите по громкоговорящей связи!

Только сейчас Пирогова заметила вмонтированное в дверь переговорное устройство, подошла поближе и проговорила, согнувшись перед микрофоном в подобострастном поклоне:

— Мне надо узнать насчет мужа...

— Он что, у нас в дежурке работает? Как его фамилия? — перебил невидимый собеседник.

— Да нет же, он сейчас на Северном Кавказе. Его фамилия Пирогов.

— Пирогов? Что-то я не припомню такого. Он что, по санаторной путевке отдыхает?

— Да нет же, как вы не поймете, находится в служебной командировке в Северной Осетии и Ингушетии, с ним случилось...

— Ну, а мы-то тут при чем? Чего вы от меня хотите? — не дослушав до конца, перебил голос.

По резким, холодным ноткам, проскользнувшим, словно падающие звездочки на августовском небосклоне, можно было предположить, что ее невидимый собеседник явно начал раздражаться от их непонятной беседы. И она, почувствовав это, как можно мягче и доходчивей попыталась объяснить:

— Вы не поняли, он командир отряда милиции, мне надо узнать, что с ним, и решить, как быть дальше.

— Не по адресу обратились, милейшая, надо к его начальству. Ваш муж в каком управлении работает?

— Он не здесь служит, а в районном отделе, в Рынке.

— Вот и поезжайте в Рынок.

Бесполезность дальнейшего разговора с незримым министерским работником была столь очевидна, что Юлия Михайловна решила оставить бесполезную попытку в чем-то убедить его и решила обратиться к кому-либо из окружающих. Но сотрудники министерства торопливо поспешали мимо нее с таким неприступно-озабоченным и умным видом, что отрывать их от важных дел Пирогова постеснялась. И она приняла первое пришедшее на ум решение: «Нужно подняться на этаж, зайти в первый попавшийся кабинет и там спросить. Не все же такие некоммуникабельные, как этот спрятавшийся за дверью дежурный».

Она вошла в кабину лифта и наугад нажала на пульте управления первую подвернувшуюся под руку кнопку. Резко вздрогнув всем своим коробчатым, угловатым телом, будто испугавшись вошедшего человека, подъемный механизм быстро оправился от стресса и медленно пополз вверх.

В коридоре, ярко освещенном люминесцентными светильниками, не было ни души. Слева и справа, словно ячейки сотов, располагались отделанные мебельным шпоном «под дуб, под ясень» двери кабинетов. На каждой из них стоял аккуратный трехзначный номер. Она остановилась перед дверью с числом 941 и подивилась:

«Неужели столько кабинетов в здании?» Но затем поняла свою ошибку, догадавшись о нехитром порядке нумерации, — первая цифра означала номер этажа. Значит, кабинет был под номером сорок один. Отметив мистический смысл символики — сорок первый, это год начала войны, — она постучала в дверь.

— Войдите, — донесся приятный голос.

Кабинет был небольшим, но уютным, светлым, со встроенной мебелью. За столом сидел молодой человек в штатском и что-то сосредоточенно писал. Оторвавшись от своего занятия, он с удивлением обратил взор на непрошеную гостью и, прежде чем Юлия Михайловна смогла что либо объяснить, спросил:

— Вам кого?

— Мне бы узнать, мой муж... — начала она со столь уже привычной фразы, — находится в служебной командировке на Кавказе. Он командир отряда. По всей видимости, произошло несчастье, и хотелось бы выяснить, что с ним.

Как это ни странно, но в ответ он произнес точно такую же фразу, какую только что слышала в дежурной части:

— Он что, у нас работает?

— Нет, мы вообще из Рынска.

— А, периферия, значит? Тогда вам не сюда, здесь секретное подразделение. Как вы вообще к нам попали без пропуска? — с подозрением поинтересовался хозяин кабинета.

Не отвечая на его вопрос, обращаясь как бы к самой себе, Пирогова проговорила:

— Что же мне делать, к кому обратиться?

— А он в какой службе?

— В милицейской, ясно. Заместителем начальника райотдела по политчасти.

— Замполит, что ли?

— Ну да.

— Тогда вам надо... Вам надо, кажется, на четвертый этаж.

Юлия Михайловна прошла по коридору к уже знакомому лифту и нажала кнопку с цифрой четыре. «Боже, слово-то какое пренебрежительно-уничжительное придумали министерские чиновники: периферия! Слух режет! Будто по скользкой лестнице на заднем месте вниз съезжаешь! Выходит так, что только в Москве — светлые умы и достойные люди, а в остальной России — серый люд?..»

Четвертый этаж по сравнению с девятым выгодно отличался

своей ухоженностью, чистотой, даже роскошью. Она прошла по ковровой дорожке наугад несколько метров вправо и остановилась перед дверью с табличкой «Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант милиции Трубицин Викентий Борисович». Немного помедлив, как бы собираясь с мыслями, беспокоить или нет важное милицейское начальство по поводу своей проблемы, Юлия Михайловна вошла в светлую просторную приемную. Из-за стола навстречу ей поднялся молодой подтянутый подполковник милиции, по всей видимости, помощник замминистра.

— Вы на прием? — вежливо поинтересовался он.

— Да, — утвердительно кивнула Юлия Михайловна.

— Проходите, садитесь, ждите.

Прием еще не начался. Она устроилась поудобнее на красивом венском стуле и осмотрелась. Помимо нее в комнате находилось еще несколько человек: пожилая холеная особа с бриллиантовым колье на пышной груди, два подтянутых молодых военных, грузный одутловатый полковник милиции с тяжелыми, как у Собакевича, чертами лица. По всей видимости, все четверо заранее записались на аудиенцию, и ей было весьма неловко, вдруг все откроется, и ее, как самозванку, с позором выставят за дверь.

Прошло не менее получаса в напряженном молчаливом ожидании, лишь изредка нарушаемом приятным баритоном адъютанта, отвечавшим на телефонные звонки:

— Да, да, ну конечно! Пока нет, но в скором времени ожидается... перезвоните попозже, я буду иметь в виду... Всего доброго.

В каждом его слове было столько многозначительности, уверенности, солидности и значимости, что Юлия Михайловна невольно прониклась уважением к этому приятному молодому человеку.

Сидеть молча, неподвижно да к тому же на жестком стуле становилось невыносимо. Затекла спина, ныла поясница, невообразимо тянуло в сон, и Пирогова делала над собой невероятные усилия, чтобы преодолеть все эти ниспосланные коварной судьбой мучения. Она хотела встать и пересест в стоящее рядом шикарное кожаное кресло, точно такое же, в каких сидели остальные соискатели аудиенции. В нем можно было бы разместиться с большим комфортом и хоть целый день провести в ожидании. Но от подобного действия ее удержала боязнь очутиться в плену Морфея, а попросту говоря, уснуть в мягких объятиях импортного произведения сто-

лярного искусства.

Резко заверещал телефон. Пирогова вздрогнула, очнувшись от полусонного состояния.

— Тихо! — властно прервал негромкий разговор двух военных адъютант. — Телефон правительственной связи!

Помощник, словно почувствовавшая свободу согнутая пружина, резко выпрямился, затем вскочил, непроизвольно вытянувшись по стойке смирно, крепко прижав к уху телефонную трубку. Подобострастно, куда девалась его уверенность и властность, елейным голосом пролепетал:

— Подполковник Сидоркин слушает! Да, так точно! Есть!

И, уже обращаясь к присутствующим, решительным тоном пояснил:

— Только что звонил генерал-лейтенант Трубицин, проинформировал, что назначенный прием переносится на более позднее время. Заместитель министра в данный момент проводит весьма ответственное оперативное совещание в Мраморном зале министерства, освободится не ранее чем через два часа. Приходите в половине первого.

Ожидавшие приема потянулись к выходу. Пирогова вышла последней, тихонько прикрыла за собой дверь. Она была даже рада, что прием не состоялся. Юлия Михайловна испытывала чувство облегчения оттого, что не вскрылся обман, не пришлось краснеть за невольное лукавство. Неожиданно для себя она вновь вернулась в приемную и спросила подполковника:

— Вы не подскажете, к кому мне обратиться, может, и не стоит беспокоить заместителя министра из-за моих проблем?

— Излагайте, что у вас, — снисходительно разрешил молодой человек, с интересом, будто только что увидел ее, разглядывая собеседницу.

Юлия Михайловна вкратце рассказала о своем деле.

— Да, ситуация. Даже и не знаю, что посоветовать. Попробуйте выяснить в центре общественных связей, это на десятом этаже. Они все знают, с журналистами работают, у них свои представители в «горячих точках», свой пресс-центр. Вся информация к ним стекается.

* * *

Пирогова поднялась на десятый этаж. Возле двери с надписью «Пресс-центр» толпился народ. Она поняла, что это журналисты,

что скоро начнется пресс-конференция, и вошла в просторное хорошо отделанное помещение с ковровым покрытием на полу и рядами красивых мягких зеленых кресел. Напротив них стоял массивный полированный стол, на котором возвышались аккуратные резные подставки с отпечатанными на принтере табличками. На них крупными буквами были написаны фамилии и должности ведущих. Рядом стояло несколько бутылок минералки и почему-то всего один стакан. Все ждали прибытия какого-то важного начальника и потому не начинали.

Публика вела себя довольно раскованно, по всему было видно, что журналисты здесь не в первый раз. Кто спокойно ждал, разместившись в кресле, приготовив блокнот и авторучку, кто вышагивал взад и вперед, собираясь с мыслями. Телевизионщики прицеливали объективы своих телекамер, устанавливали микрофоны.

— Проходите, проходите, — приветливо пригласил Юлию Михайловну небольшой седенький пожилой человек в поношенном сером пиджаке. Его бросающиеся в глаза залысины глубоко проникали в редкую шевелюру и еще больше подчеркивали солидный возраст их обладателя. — Опаздываете, «Интерфакс»!

Старичок, не требуя от Пироговой ответа на свое замечание, указал на свободное место:

— Садитесь, садитесь, начинаем!

Юлия Михайловна, удивившись такому радушному гостеприимству, с удовольствием устроилась в уютном мягком кресле. Только сейчас она поняла, как жутко устала от дальней дороги и бестолковой ходьбы по этажам. Она начинала понимать неуместность своего присутствия здесь, что и на этот раз попала явно не туда, куда следует, что с минуты на минуту состоится очередное, вовсе бесполезное, с ее точки зрения, мероприятие. И все-таки какое-то шестое чувство удерживало ее от желания уйти. И она осталась.

Брифинг шел бурно, обсуждалась одна из животрепещущих тем — роль милиции в стабилизации положения в «горячих точках». На вопросы журналистов отвечал Анатолий Савельевич Чирков, боевой генерал, один из руководителей внутренних войск МВД России. Он кратко остановился на международных конфликтах, в которых приходилось участвовать милиционерам и военнослужащим внутренних войск в качестве миротворцев:

— За последние годы их немало произошло на волне так называемой лжедемократии, националистических интересов. Напомню:

это конфликт между узбеками и турками-месхетинцами в Ферганской долине. Прекрасная, цветущая, плодороднейшая земля и опустевшие улицы Ферганы и Коканда, трупы людей, горе почти что в каждом доме. Многих своих товарищей оставил я на этой земле. Но это было только начало. А потом — воюющее Закавказье: Сумгаит, Баку, Ереван, Нагорный Карабах. В Абхазии под Огамчурой погиб мой друг полковник Немтинов. Теперь пожар межнациональной розни перекинулся на Северный Кавказ. Дудаев в Чечне практически создал свою армию, а теперь вот объявлено чрезвычайное положение в Северной Осетии и Ингушетии, идет война. А сценарии вооруженных конфликтов повторяются один в один, будто недобрый человеконенавистник пишет их под копирку, не выходя из своего кабинета. А мы, милиция и внутренние войска, пляшем под его дудку. Причем пляшем неумело, непрофессионально, как Бог на душу положит.

Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил:

— Почему политическое руководство не дает нам действовать против бандитов, смутьянов, националистов и прочей нечисти по-военному строго и сурово? Чего мы боимся? Палку перегнуть? Не надо этого бояться! Пусть нас боятся, ведь мы защищаем конституционный порядок. А мы все добренькими быть пытаемся, это с теми-то, кто нас убивает и калечит? Нельзя быть добрыми, нельзя быть слабыми, а нужно быть сильными и мужественными. Мы же заискиваем перед враждующими сторонами, стоим как бы между двух огней, и из-за этой неправильной политики сколько наших полегло! Несть числа! Поэтому-то очаг войны переместился на территорию России, он переступил порог Северного Кавказа. Здесь кипят страсти, звучат выстрелы, гибнут люди, распадаются республики. Теперь нет Чечено-Ингушетии, а есть отдельно Чечня и Ингушетия. И отдельно от них — Северная Осетия, за Пригородный район которой идет кровопролитное сражение с Ингушетией. А все это вместе — Россия, на южной окраине которой полыхает война. И как в сложившейся ситуации милиционерам и военнослужащим внутренних войск выжить, сохранить нейтралитет и в то же время не уронить чувство собственного достоинства — одному Богу известно...

Генерал, не отойдя еще от своей взволнованной речи, налил в стакан воды и залпом выпил шипящую минералку. Затем, окинув взглядом зал и как бы удивившись присутствию журналистов, ба-

совито проговорил:

— А теперь попрошу вопросы. Только не очень много и по существу. А то у меня самолет скоро. Дела...

Дирижировал мероприятием все тот же приветливый старичок. Он единолично решал, кому дать возможность задать вопрос, а кому терпеливо дожидаться своей очереди. Таблички на столе напротив его фамилии не было, да она была не нужна, так как кроме Юлии Михайловны, все журналисты его знали и уважительно называли Александром Ивановичем.

— Господа журналисты, действуем в обычном порядке. Кто хочет задать вопрос, попрошу поднять руку. Пожалуйста, Арон Спиридонович! — и старичок указал перстом на журналиста в первом ряду.

— Игнатовский, газета «Известия». Товарищ генерал, а как вы прокомментируете тот факт, что милиция и военнослужащие порой сами провоцируют конфликты?

— Попрошу конкретный пример.

Журналист, явно довольный собственной постановкой вопроса, именно ждал подобной реакции и уверенно и витиевато разразился тирадой, суть которой сводилась к Рижскому и Вильнюсскому ОМОНу.

— Они же попросту избивали и убивали людей, а мы их в национальные герои зачислили. Справедливо ли это? Мне кажется, во всем виноват прежний тоталитарный режим, не так ли?

— Отчасти вы правы, — польстил журналисту Чирков.

Тот с победным видом оглянулся и снисходительно осмотрел сидящих в зале коллег. Не каждый из них мог навязать свое мнение высокому начальству.

Но генерал продолжил свою мысль:

— Но лишь отчасти. В январе прошлого 1991 года Вильнюсский ОМОН поставили против разъяренной толпы, которая была возмущена повышением цен на самые необходимые товары. За спиной у милиционеров стояли боевики из созданного незаконно департамента по охране края, вооруженные кусками арматуры. Именно они-то и пытались устроить настоящую бойню, а ОМОН, по сути, бросили на защиту антинародного правительства. Никуда не денешься — приказ есть приказ. Но после этого ребята поступили по совести — решили уйти из органов внутренних дел республики и перейти на защиту интересов населения, оставаясь верной союз-

ной присяге. Они создали свою базу в здании Академии полиции Литвы и держались до последнего, сколько было возможно, несмотря на постановление правительства Литвы о расформировании отряда, несмотря на угрозу разоружить милиционеров силой, несмотря на осаду базы. Держались потому, что чувствовали поддержку Москвы, военных частей, дислоцировавшихся в республике. Но когда ее не стало, когда бывший министр МВД СССР Виктор Баранников подписал приказ по упразднению Вильнюсского ОМОНа как самостоятельного подразделения, милиционерам пришлось сдать-ся. Отряд распустили, а каждый его боец и поныне подвергается опасности стать жертвой необоснованных преследований со стороны властей. Ведь против сотрудников отряда возбуждено более тридцати уголовных дел. Так что Вильнюсский отряд милиции особого назначения, по сути, оказался жертвой политических разборок между центром и властью на местах. К его помощи прибегало правительство Литвы в своих внутренних делах, а в Москве делали вид, что творится все это без их ведома. Не ошибусь, если скажу, что та же самая ситуация сложилась и в отношении Рижского ОМОНа, который на сегодня нашел пристанище в Тюменской области. Такая вот неприглядная картина получается. Кто-то власть делит, а милиция, как всегда, виновата.

— Скажите, — обратилась Пирогова к сидящему рядом молодому человеку с диктофоном в руке, усиленно кромсающему челюстями вязкую резину жвачки, — а кто это хозяйничает рядом с генералом?

— Да ты что! Это же полковник Анциферов! Ты что, первый раз на брифинге? Тебя недавно аккредитовали?

— Ну да!

— Это меняет дело! Тогда давай знакомиться: меня Эдик зовут, из «Московского комсомольца». А тебя?

— Юлия. Юлия Михайловна, — поправилась она.

— Очень приятно. Ну, понимаешь, Анциферов — это фигура, начальник пресс-центра МВД! Он все знает, его все знают. Он тебе в два счета все растолкует, даст нужную информацию. А попадешь к нему в немилость — все, амба! Информации не дождаться, а может и вообще аккредитации лишить. Ты же понимаешь: милиция — хлебная тема. В любую газету, любой журнал материал с «грабушками» берут, и гонорар приличный.

Не в меру разговорчивый сосед мешал слушать, да, собственно

говоря, этот разговор для Пироговой был интересен постольку поскольку. Журналистов больше интересовала политическая сторона, этнические коллизии народов Кавказа, которые давно и безуспешно на протяжении веков пытаются разрешить российские правители. Генерал очень умело и аргументированно отвечал на вопросы. Он в совершенстве владел темой, но объяснял все в глобальном масштабе, вел разговор как бы в целом. Но мог ли он ответить на ее вопрос — что с Павлом? Наверняка нет, ведь муж лишь малая песчинка в этом водовороте межнационального смерча. А когда поднимается песчаная буря, кого интересуется судьба отдельной песчинки?

Поверив словам соседа об осведомленности Анциферова, она решила дожидаться конца пресс-конференции и поговорить с ним. Ровно в час дня мероприятие успешно завершилось. Генерал, явно довольный тем, что удалось поделиться наболевшим с благодарными слушателями, попрощался и ушел в сопровождении седого полковника, молча просидевшего всю пресс-конференцию в зале.

Зал пресс-центра мигом опустел, журналисты на рысях помчались в здешнюю столовую, где можно было дешево и сердито пообедать.

— Ты, мать, чего телишься, — тронул ее за плечо Эдик. — Так и в министерскую столовку запоздаем, перерыв начнется, в очереди стоять придется, похиляли живее. У меня редакционная еда вот где стоит, — и он полоснул ладонью по горлу. — А здесь, ей-Богу, вкусно кормят.

— Вы идите, я не голодна.

— Ну, как знаешь, аривидерчи!

И «Московский комсомолец» вприпрыжку бросился вдоль коридора догонять журналистскую братию.

Анциферов, проводив начальство и журналистов, вышел из зала, достал из кармана ключ, долго пытался вставить его в замочную скважину. Когда это все же удалось сделать, сноровисто провернул ключ на два оборота и для верности подергал дверь. Убедившись, что все в порядке, он неторопливой походкой двинулся по коридору в противоположную сторону от Пироговой, но та окликнула его:

— Александр Иванович, можно вас на минутку? Мне по личному вопросу.

Он обернулся, удивленно вскинул брови.

— Конечно, конечно. «Интерфаксу» всегда готов помочь. Вот

только, право, не знаю, как быть с обедом? Перерыв, сами понимаете, имеет дурное свойство быстро кончаться, не находите? Вы как насчет обеда?

Он улыбнулся и игриво посмотрел на Юлию Михайловну, та смутилась:

— Нет, нет, я не буду обедать, — вторично отказалась она от приглашения. — Я здесь подожду. И еще, никакая я не «Интерфакс», я Пирогова, из Рынска.

— Да? Удивительно, а я вас за Курбскую принял. Ну, раз так, то встретимся ровно через час. Дела делами, а обед по расписанию, как говорится.

И он торопливо устремился вслед за всеми в столовую.

Впереди у нее был целый час, и Юлия Михайловна бесцельно бродила по коридору, глаза на однотипные двери кабинетов с одинаковыми серыми номерами. Больше остановить взгляд было не на чем. Устав от однообразия министерских стен, она подумала: «Хотя бы холл какой-никакой отгородили, пару кресел поставили, аквариум с рыбками завели, кадучку с пальмой или фикусом — вот и место для психологической разгрузки и отдыха. А здесь — сплошная казенщина, и потолки низкие, как в тюремном каземате. Только двери не стальные, а деревянные и без глазков. Да освещение поярче — вот и все отличие...»

Неожиданно тишину притихшего коридора нарушил веселый гомон. Она прошла немного вперед, определяя, откуда исходил звук, и остановилась перед дверью, ничем не отличающейся от других, нажала на красивую желтоватой тонировки ручку, потянула на себя и вошла внутрь небольшого квадратной формы «предбанника». Внутри была еще одна стеклянная дверь, ведущая внутрь кабинета. Она прислушалась в нерешительности: войти, не войти?

— За тебя, Олег! Чтобы в жизни тебе сопутствовала удача, везенье, чтобы женщины тебя любили, а друзья обожали, — раздался низкий, проникновенный, будто декламировавший стихи женский голос. — Как говорится, чтобы буй стоял и лодки плыли!

Компания весело засмеялась, зааплодировала:

— Вот это Надежда сказала, ну и ну! Настоящий мужской тост!

— А вы как думали? Одним вам, мужикам, острословить дозволено? Мы еще тоже на что-нибудь сгодимся. А собственно говоря, чем я не мужик, наверное, лет пятнадцать в вашей компании?

— Ты гораздо хуже, ты милиционер!

Все дружно расхохотались.

Чисто из женского любопытства Юлия Михайловна приоткрыла дверь и заглянула внутрь кабинета. Человек десять-двенадцать, явно «на взводе», мужчин и единственная женщина сидели за празднично сервированным столом. Все разом, как по команде, повернулись в ее сторону. Симпатичный молодой человек, видимо виновник торжества, встал из-за стола и весело, с некоторой долей кокетства сделал рукой, в которой поблескивал бокал с вином, приглашающий жест:

— Проходите, проходите! Внимание, господа! Кажется, к нам гости! Кто вы, прекрасная незнакомка? Какого роду-племени и из какой прекрасной страны?

Галантные кавалеры потеснились, освобождая место для приятной дамы. Милиционерша, перегнувшись через стол, передавала для Пироговой чистую тарелку и маленькую хрустальную стопочку.

— Извините великодушно, но бокалов больше нет. И без ножа придется обойтись.

Пирогова смутилась, поняв, что очень некстати угодила в самый разгар банкета по какому-то существенному поводу: то ли дня рождения, то ли именин, то ли церковного праздника, а может, повышения по службе. Впрочем, это не имело ровным счетом никакого значения. Она поняла, что и здесь помощи ждать не от кого.

— Нет, нет, спасибо за приглашение! Извините меня, я вовсе не за этим зашла, я просто ошиблась адресом, — выпалила она скороговоркой и тихонечко прикрыла за собой дверь.

— Надя, я же русским языком просил тебя запереть дверь на ключ! — услышала Юлия Михайловна раздраженный голос виновника торжества. — Странная какая-то особа. От халявной выпивки отказалась, значит, не из наших! Кто ее знает, куда она пойдет сейчас, кому сообщит, а нагорит мне!

— Кто же знал, что по коридору бродят посторонние, пускают всяких, а мы виноваты, — оправдывался женский голос. — Черт с ней! Что тут такого, ведь мы же не в рабочее время, а в обеденный перерыв собрались.

Какая-то тревога и одновременно обжигающее, всепоглощающее чувство овладело Пироговой. Оно исходило изнутри, из глубины души, и с каждой минутой все больше и больше нарастало,

ширилось и крепло. Это было чувство злости, возмущения, протеста против чиновничьего равнодушия, произвола, бессердечности, чванства. «Неужели им всем тут плевать с высокой колокольни на то, что творится в стране, что где-то идет война, гибнут люди. Неужели им безразлична моя судьба, судьба моих детей, моего Павла, такого же, как и они, милиционера?» — прокручивалось в ее возбужденном мозгу.

Она пыталась успокоиться, прийти в себя, уgomонить перехлестывающие через край эмоции, но не в силах была совладать с собой. «Неужели в этом здании, населенном сотнями, а может быть, и тысячами милицейских начальников и начальничков всех рангов, до нее нет никакого дела? Чем же тогда они все заняты?»

И, не найдя ответа на самой себе поставленный вопрос, не дождаввшись возвращения Анциферова, направилась к выходу. Юлия Михайловна твердо решила ехать во Владикавказ, чтобы самой выяснить, что случилось с Павлом...





Валерий АРШАНСКИЙ

РАССКАЗЫ

ЦАРЕДВОРЕЦ АРХИПОВИЧ

*56-й был год,
Шла весна, ломая лёд,
И ещё ломались голоса, а не хребты...*

Евг. Евтушенко

В те годы я так хотел быть похожим на него, Архипыча. Когда он приходил к нам в дом, деликатно покашливая у порога и заученно поправляя седые, тщательно подрезанные усы, выражая готовность к выполнению заказа, я замирал: сейчас, сию минуту начнётся это очаровательное, не уступающее театральному действию — работа!

Архипыч почтительно выслушает многословную и невнятную мамину просьбу, послушно покивает головой. И всей завидной выправкой своей, несгибаемой и с годами статью — о благожелательном взгляде сине-серых глаз не говорю! — даст понять, что не очень складное благопожелание заказчицы принял как неукоснительный приказ. То есть, не мешкая, приступает к делу.

Валерий Аршанский родился в 1945 году. По основной профессии — журналист, был редактором «Мичуринской правды», в настоящее время возглавляет издательский дом «Тамбовская жизнь».

Автор шести книг прозы. Лауреат областных литературных премий имени Георгия Ремизова и Ивана Рахманинова.

Член Союза писателей России.

Архипыч может всё! Из неказистых планочек, непропорциональных фанерок, разнокалиберных по длине и толщине досочек, широких и узких реечек под его руками получится что хотите — стол, стул, тумбочка, шкаф (о такой мелочи, как посылочный ящик, и говорить не приходится). Ах, вы дверь в коридор хотите? От любимого соседа, надоедающего с утра до ночи своим баяном, отгородиться? Кхе-кхе-кхе... Ну что ж, ну что ж, побрякивая, побряхтывая и добродушно посмеиваясь в усы (слегла попахивающие с утра пораньше чем-то остреньким — вроде как самогонкой), Архипыч сладит и дверь. Всё у него для этого есть, не извольте беспокоиться.

Сейчас-сейчас, вы пока подметите, подуберите в этом уголке, а он спустится к себе, в полуподвал, прихватит всё, что требуется. Может, не за один раз: материалы — обрезные доски и горбыль, планки, обналичники, рамочки, косячки, полочки, филёночки — это уже на обшивку полотен. Стёганные ватные полоски и мятый, едко пахнущий чёрный кожзаменитель — дерматин — это для последних штрихов, утепления.

И ещё, конечно, нужен всякий инструмент, он у него разложен в разноске — надёжном деревянном теске с высокими ручками. Там, точно, острый топор, рубанок, два молотка, пила-ножовка, уровень, стамески — штуки три, долото — а чем иначе выбирать гнездо под врезной замок? Гвоздики отдельно. Шурупчики, гаечки, болтики, металлическая окантовка аккуратно расправленная и с дырочками — крепилась прежде, вернее, крепила сама фанерные спичечные короба. Гвоздодёр, коловорот, керн, набор свёрл — всё у него есть и для столярных, и для слесарных работ. Редко-редко чего-нибудь Архипыч забудет — то, за чем меня не пошлешь, а то бы я пулей слетал, — за чем ему самому надо идти вниз, в глубь нашего бывшего барского дома, где мы занимаем две комнатки на втором этаже, а он со своей бабой Азой — полуподвал. Есть ли у них дети? Вроде бы да, взрослые. Только они сюда носа не кажут, давным-давно куда-то уехали.

О бабушке Азе сосед наш, баянист дядя Митя Куц, с кривой ухмылкой всегда говорит, что она из табора, беглая цыганка. И недаром, точно недаром, как увидит её, шаркающую по двору в резиновых ботиках, так быстрее наигрывать на своих перламутровых пуговках «Цыганочка Аза, Аза...»

Не знаю и родители мои ничего такого о ней не знают. Ходит

обычная, как все женщины её возраста, сухонькая старушка, да, черноглазая, да, черноволосая, иссиня-черноволосая, точнее будет сказать. Ну и что? Да кто в нашем дворе только не живёт! Вон, ассирийская семья чистильщиков обуви весь флигель занимает. Немцы жили — дядя Витя (вообще, Вальтер), тётя Марта, два пацана их, велосипедисты-жадины, ни разу прокатнуться на своём велике не давали. И хорошо, что куда-то их вызвали, куда-то отправили... В Поволжье, во, я слышал — взрослые говорили...

Бабушка Аза всегда в хлопотах, праздню сложив руки на коленках, на скамеечке не посидит, как другие бабульки. То она виноград в своём маленьком садочке подрезает, то на базар несёт эти же синие кисти сорта «Изабелла» продавать, то картошку на суп стоя у плиты в летней кухне чистит, то чугунок вчерашнего варева живности своей раскидывает — уткам, курам, цесарочкам. Какая она цыганка? Слова не услышишь, в отличие от тех горластых, хрипастых, назойливых таборянок, что хватают тебя и в самых людных местах за грудки: «Пойдём, золотой, погадаю, всю правду расскажу...»

— Здравсьте, тётя Аза!

— Здра-а-вствуй, — медленно так, нараспев, обязательно прищурясь и пристально всматриваясь в глаза: не ошиблась ли, мол, того ли я вижу и знаю, с кем здороваюсь? — Здра-а-вствуй, Валерка, — добавляет она уже побыстрее и с видимым удовольствием: тот! Сосед — добрый, воспитанный мальчишка; тяжёлую сетку с базара — сам бежит поднести, ведёрко с водой не преминет, подхватит. Тот раз попросила — всё бросил, полетел на луг, травку-спорыш кроликам нарвать. Приятно с таким мальчиком и поздороваться. А уж если грушу или виноградика ему дашь — сто раз спасибо скажет. Вот оно, родительское воспитание.

...Архипыч, что-то негромко мыча, скорее всего напевая под нос известный только ему одному мотив, споро вымеряет (эх, забыл сказать, — метр складной, деревянный, старинного изготовления метр обязательно у него в работе присутствует) и пишет на фанерке, слонявя карандашик (про карандаш я тоже забыл?), — цифирки высоты и ширины будущей двери. Во мастер: он ещё и по диагонали разложенные бруски промеряет, попробуй додуматься! А он знает: точно вымеришь — косить не будет. Умный наш папа назвал бы такой подход инженерной подготовкой.

Похекивая-покашливая в кулачок и при этом безымянным паль-

цем, где тускло светится тоненькое колечко, поводя по пышным усам, Архипович зовёт маму. Вроде как советуясь с ней, весь вид — сама услужливость, он уже определённо «получает» от хозяйки в собственном лице наставления: влево или вправо должны двери открываться, где будет ручка, на какую сторону коробки петли сажать...

— Архипович, — понимая эту игру, поощрительно улыбается мама (рукава платья закатаны выше полных локтей — занята приготовлением обеда ему же, рабочему человеку). — Архипович, дорогой, ну что вы меня, бестолковку, о мужском деле спрашиваете? Конечно, всё так, по вашему плану. Мне лишь бы дверь была, видите, что тут творится...

Она красноречиво разводит руками, указывая соседу снизу на похабную картину поведения нашего соседа сбоку: его харки, плевки, папиросные окурки. Пусть теперь сам в тамбуре убирается, как хочет, этот неопрятный и никому не приятный дядя Митя, баянист-одиночка. А в нашем отсеке мама порядок наведёт идеальный, можно не сомневаться.

— Ну коль благословляете, то в добрый час, — щурится Архипыч. — А то ведь вдруг чего...

Он слов не договаривает, что-то по инерции ещё доборматывает, сивоусый наш дворник, плотник, божий работник, имени которого никто во дворе не знает и не спрашивает. А взгляд его, острый соколиный взгляд уже нацелен, даже не нацелен — вонзён вон в ту так удачно им подобранную досточку с выступающей шпонкой, на которую ладненько, впритирочку ляжет другая доска — с пазиком. Вместе они и составят нужный ансамбль — створку, которую обовьёт не планка, нет, простая рядовая планка — это грубовато, не художественно. Лучше пустить по бортику тоненькую изящную филёночку, прекрасно венчающую дверное полотно, придавая ему завершённый, законченный вид.

Только теперь понадобятся ещё фуганок, рейсмус, строганок, что ещё? Что ещё?

Когда Архипыч уходит в работу весь, целиком, без остатка — он поёт страшно интересные песни. Интересные потому, что я нигде и ни от кого такие ни разу не слышал. И дружок мой Вовка Мельник — я спрашивал — тоже не слышал.

Дядя Митя Куц, скривив губы, ядовито оценил их «белогвардейщиной». Но это же, надо знать, дядя Митя!

Когда Архипыч поёт, не дай Бог ему помешать словом, вопросом, шуткой — всё пропало. Нахмурится, насупится, сцепит зубы и — молчок. Лучше всего тихесенько, как говорит его баба Аза, присесть рядышком и заниматься тоже работой, пусть самой простой — например, выпрямлением покорёженных гвоздей. Несложно, приятно, полезно. И точно услышишь тогда то, что с мужской особенностью, хрипловато, но без надрыва, с приятной хрипотцой поёт Архипыч.

*Все дни изломаны, как преступлением,
Седого Времени заржавел ход
И тело сковано оцепенением,
И сердце сдавлено, и кровь — как лёд.*

Во слова! Мороз по коже. Это тебе не слащавые «Ландыши», что поют в кинотеатре «Заря» перед каждым новым сеансом две писклявые блондинки по очереди под аккомпанемент нашего толстого соседа — плеваки дяди Мити, от которого мы хотим отгородиться дверью.

Это и не загульный «Шумел камыш», что поют после удачного конного базара подвыпившие сельские мужики на летней кухне у Архипыча, которому платят за ночёвку и постой.

Это и не разможденная в то время «Мишка, Мишка, где твоя улыбка», которую распевает окрестная молодёжь, собираясь вечерами «на дубки» здесь же, у нас, на Казацком валу, в десяти шагах от нашего дома.

Что-то неясное, хотя и угадываемое, тревожное, печальное и безвозвратное, цепляющее за душу звучит в этой хриплой песне.

*Но знают молнии: всё изменяется...
Во сне пророческом иль наяву?
Копьё Архангела меня касается
Ожогом пламенным и я живу.*

Надо будет вечером, когда проводим Архипыча, сбежать через двор, к Вовке Мельника бабушке — набожной Марии Егоровне, которая изредка водит нас с ним в Ильинский храм, спросить, что это за такое копьё Архангела. Если нет его на иконостасе в церкви, то, может, в музее оно есть? Или в художественной мастерской, что от нас поблизости?

Мария Егоровна, честно говоря, женщина насколько суетливая, настолько бестолковая. Как тот же язвительный дядя Митя говорит: «Она и двух свиней не накормит, потому что даже одной не держала»... Но! А вдруг знает? Да и кого мне ещё спрашивать? В школе каникулы. Брат в армии. Папу? Он вечно на работе, мама ворчит, что ему и гвоздь в стенку некогда забить, всё Архиповича приходится приглашать. А папа устало соглашается: «Мне бы, дорогие, ваши заботы, когда литейка на ладан дышит, а план — любой ценой!»

Мама? Начнёт расспрашивать, а где и от кого я эти слова услышал? Почему постоянно суюсь к ней с глупыми вопросами? Почему, кстати, у меня руки грязные, майка порвана, губы синие — опять с Вовкой на шелковницу лазали! О-о-о, о-о-о, о-о-о...

*Пусть на мгновение — на полмгновения
Одним касанием растоплен лёд...
Я верю в счастье освобождения,
В Любовь прощение, в огонь — в полёт!*

* * *

Архипыч с явным удовольствием достукивает последние гвоздочки. Ставит, о нет, бережно прислоняет собранную дверь к стене, чтобы отойти потом на пару шагов, полюбоваться своим творением. Вновь зовёт маму. И та с доброй (откуда-то и ямочки берутся!) улыбкой на лице разводит руками:

— Архипович! Нет слов. Мастер высшего класса. Сынок?..

Я восторженно задираю в гору оба больших пальца. А мастер наш, Архипович, смущённо вытирает руки о брезентовый свой фартук с вьёвшимися опилками и то ли расправляет, то ли приглаживает горделивые усы.

— Ну, скажете, мастер. До мастера мне, кхе-кхе, как до Китая, далековато. Так, подмастерье.

Говорит, а сам умиротворённо шуруется, словно на вкус похвалу пробует — искренне ли, от сердца, или больше по вежливости прозвучали обращённые к нему слова. Нет, вроде от сердца. Ну, так и так; доброе слово и кошке приятно.

— Тогда вот что, — слегка хлопает в ладони Архипович. — Мы с молодым человеком сбегает сейчас на рынок, шпингалеты купим, петли, замок врезной, щеколду крепенькую...

— Масло, масла машинного возьмите флакончик, не забудьте, — уже с веранды, следом, во двор кричит Архипычу мама. — Обязательно масло возьмите, чтоб скрипу не было.

Мама кричит, а я замешкался со своими рваными сандалиями — и она не слышит, а я слышу, как брюзга дядя Митя, проходя к себе из дворовой уборной, где просидел добрый час, ядовито шипит, передразнивает: «Маши-и-нного... Там, в подвале, у него и оружейного, поди, целая фляга стоит. Чем трёхлинейку смазывал?»

— Архипыч! — вприпрыжку по двору догоняю я своего жога-го. — Дядь Митя Куц сейчас о какой-то трёхлинейке, что у вас есть, говорил. Лампа это, что ли, такая, трёхлинейная, да?

Архипович досадливо крикает, машет рукой. Потом всё же выпаливает: «Чокнутый он, дядя Митя ваш. Лучше бы каверны свои полечил. Аза ему и смалец, и барсучий жир за так предлагала. Не хочет. Не берёт. А ведь доиграется со своими лёгкими, курит-то, как паровоз.

Досаду Архипыча я понимаю. Но почему всё же о трёхлинейке он так ничего и не сказал? Ладно! Всё равно узнаю. Пусть бы только дед меня сейчас с собой не тащил на базар, я б живёхонько к Вовке сбегал, через пролом, укороткой.

Ура! Архипыч, вдобавок ко всем его талантам, ещё и ясновидящий! Замерев на миг у синего шалмана, где на вывеске нарисована похабель: кособокая кружка пива с костлявой воблой в придачу, мой кумир даёт мне полчаса на прогулку со встречей на этом же месте точь-в-точь через тридцать минут.

— Есть! — испаряюсь я в мгновение ока.

— Есть! Правое плечо вперёд, в пивнушку, шагом марш! — устремляется в шалман, щеголяя не потухшей с годами выправкой, мой старший друг...

И ровно через тридцать минут усталые, но довольные мы вновь встречаемся у пенного заведения.

— Возьмите сдачу, — щепетильно ссыпает мне в ладонь жёлтые кружки копеек Архипович. — Сами матушке отдадите, вы ведь железки покупали, кхе-кхе.

Никто и никогда, кроме Архипыча, не обращается ко мне на «вы». Причём ещё лет с восьми, выходит, все последние четыре года. Я поначалу стеснялся, краснел, оглядывался: не слышат ли ненароком дворовые пацаны, эти наши отчаянные голубятники-матерщинники-драчуны-шпанючата, столь благородного «выканья»? Ведь

задразнят, затерзают, если услышат. Начнут гримасничать, кривляться, изгаляться: «Вы», «Барон», «Граф», «Маркиз», «Ваша светлость»...

Нет, всё спокойно. В этот субботний день никого пока ни во дворе, ни на веранде нет, подслушивать некому, пусть себе обращается на «вы», стерпим.

А за тёплое отношение деда я ни на речку, ни в парк не пойду, останусь с Архипычем до вечера, буду помогать ему до упора и пеглы прикручивать, и шпингалеты навешивать, и дверь таскать, пока не приучим её ходить плавно, не шаркая пяточкой по полу, бесшумно.

И вот она, красавица двухфилёночная, поддалась на все наши уговоры до единого. Пусть теперь бухарик дядя Митя бухает за дверями своим утробным кашлем, сколько хочет. Пусть теперь облапанные им, с волосами крашенными перекисью водорода певички (мы о них всё во дворе знаем!) приходят убирать мокроту с пола. Мы отделились. Ура!

Благодарная мама щедро выставляет перед нашим благодетелем полную бутылку самодельной «Ореховки» (ядрышки запах сивухи отшибают начисто!), наливает по края глубокой миски фирменный свой пылающий багровым и алым борщ с огромными кусманами мяса на косточке. Отдельно на блюдечке подаёт уже начищенные зубки чеснока, мелкозернистые дольки малосоляного огурчика, пересыпанные венчиками свежего лука, укропа, петрушки картофелинки....

Даже сама принимает на радости стопочку. Вот это да!

— Ешьте, Архипович, ешьте, вы ведь, небось, и не позавтракали, — метушится по кухне мама, то извлекая из духовки добавку — рассыпучую гречневую кашу, то подкладывая гусиные крылышки, то поливая всё это добро невозможно каким пахучим подсолнечным маслом. Каждый день бы так!

В перерыве между первым и вторым блюдами кудесник Архипыч, выправив в три прикосновения наш вечно колченогий кухонный стол, рассказывает те нисколько не смешные анекдоты, которые рассказывает всегда ровно столько лет, сколько я его помню. Но мы всё равно смеёмся, выжимаем из себя смех.

Архипыч доволен: повеселил. Со слегка повлажневшими от третьей «орешницы» глазами, он исправно налегает и на борщ, и на картошечки, и на кашу, и на гусиные крылышки. Со вкусом похру-

стыкает косточками, чесночком, огурчиками. И согласно кивает головой в ответ на все мамины пыльные речи; а уж она дорвалась до сочувствующего человека — не остановишь.

Архипыча, правда, может и устраивают такие затяжные маминьины монологи: поллитровка ещё не закончена, пьётся это орехового цвета произведение очень легко, что спешить? Но для приличия он задаёт всё же какие-то наводящие вопросы и, сообразно мелодии ответной речи, то радостно гыкает, то гневно хмыкает, то осуждающе или понимающе качая головой молчит.

Нет папы рядом! Тот бы молвил, как всегда кратко и ёмко: «Сображает мужик!»

— Чайку, Архипыч? — с готовностью приподнимает над плитой заварной чайник мама. Тоже, видать, наконец, устала, и теперь незатейливо даёт понять, что пора расходиться.

И гость понимает это. Резво привстаёт, несмотря на затуманившую голову опустошённую «ореховку».

— Не, не, не, спасибо, спасибо. Чайку — это я дома, дома.

Разбитыми в работе, раздавшимися в фалангах пальцами он на прощание ещё разок любовно оглаживает, ощупывает рёбра двери (а на них ни сучка, ни задоринки) и назначает срок обивки полотна и утепления: через недельку. Пусть эта красавица, кхе-кхе, пока хорошенько пообвиснет, притрётся, а потом мы её окончательно и оженим, кхе-кхе-кхе.

* * *

Мама, подложив под голову диванную подушечку и принакрыв ноги тёплым халатиком, устраивается вздремнуть напротив открытого окошка. Папа позвонил с кратким сообщением: «Ужинайте, задержусь»...

И делать мне совершенно нечего, кроме как наблюдать жизнь двора. Въезжают к нам сюда машины, выезжают отсюда машины. Грузовики снуют. Часа не прошло, ну пусть даже час прошёл после ухода Архипыча; за это время я подмёл, убрал за ним все стружки, обрезки, отходы и закинул их в печку — до осени, на растопку. Что ещё делать? Вот он — наш друг, седой, неутомимый — об этом не думает, уже пересекает стёжки-дорожки, направляясь к воротам.

Только теперь Архипыч приодет: серые брюки, пусть старенькие, отутюжены до стрелок, коричневые штиблеты наярены до блеска, сорочка новая — в белый горошек по синему фону — за ремешок заправлена.

Я знаю, куда путь держит. Рядом с нами, тут же, на Казацком валу, расположена детская художественная школа и большая мастерская. Там очень интересно: в одном крыле, слева, делают транспаранты, наглядные щиты, портреты вождей рисуют. В правой части здания — учебные классы и салон. Бородатые, все как один, в беретах набекрень художники приходят туда с картинами в рамках или холстами на подрамниках. Там же занимаются студенты — парни и девчонки из художественно-прикладного училища. Туда и мы с Вовкой Мельником пару раз ходили после второго класса, но быстро были изгнаны за профнепригодность и ужасное поведение.

Пошухерили мы с Вованом и впрямь изрядно: вначале трём девчонкам в альбомах чертей понарисовали, а потом нашли в приоткрытой учительской череп, намалевали на нём гуашью кое-что и приклеили бумажку: «Друг наш, Колька».

В художественную мастерскую каждый день приходят натурщики — дебелие тётки, разновозрастные дяди. Они раздеваются, становятся там, где им укажут, и спокойно стоят так за пять рублей в час, пока с них рисуют натуру, обнажёнку.

Мы с Вовкой часто паслись тут под окнами. Конечно же, не муляжи яблок рассматривали. И не поза Архипыча с задранной поленински головой и выброшенной к толпе рукой нас занимала. А те самые рубенсовские девушки, Афродиты. Но тут нас накрыли сторожа, прогнали с улюлюканьем, со свистом. И директор позвал натурщика Архипыча заколотить манящие нестойких юных граждан окошки толстыми досками. Он, усердный, ещё и проволокой их опутал. Совсем хорошо.

Нам бы, может, с Вованом тоже в натурщики податься? Ничего себе, пять рублей в час! Мы с дружкой такие деньги за целый день не зарабатываем, смывая со старых брезентин краску киноафиш прошедших на экранах фильмов и готовя дворовой знаменитости — художнику Михаилу Моисеевичу Клейману — для рисования новые холсты. Живописец наш, создатель недолгих шедевров-заставок к картинам «Командир корабля», «Битва за Берлин», «Застава в горах» платит скупое: два рубля холст. А то вообще рубль платил, да мы с Вовкой забастовали. Сам попробуй, Рубенс Моисеевич, посдирай щёткой намертво въевшиеся во все поры афиш твои же масляные краски. Замучаешься! А мы сдираем.

Довольны бывают только наши мамы: ой, сынки-труженики, умницы, и всё на глазах, на виду, не шелапутничают. А нас тошнит

от этой краски, от этих щёток, от этих вёдер мутной воды... Но скоро, скоро сделаем мы штаб и муки кончатся!

* * *

Архипыч всегда посвящён в наши мальчишеские секреты. Знает он, о чём мы постоянно шушукаемся с Вовкой Мельником, зачем то и дело снуём друг к другу домой.

С моим одноклассником мы договорились ещё зимой, а сейчас вплотную начали строить штаб, грубо говоря, шалаш. Такое укрытие, о котором никто не пронюхает. А мы будем там как разведчики встречаться, планировать свои дела, совместно добывать и хоронить от чужих взоров имущество, нужное для походов и дерзких вылазок в известные нам сады-огороды.

Штаб соорудим в неожиданном месте — в уголке садочка, за невидимой снаружи выгребной ямой и огромным мусоросборником. Запахи? Так тут яблони и груши цветут всюю, они напрочь неприятные ароматы отобьют.

Архипыч дал нам для настила горбыль, для обшивки — тёс. А потом ещё выдернул из-под сарайного схрона пяток вполне годных дубовых столбков, лишь чуть тронутых временем и цвилью: ставьте опоры, вбивайте, будут вообще мёртво стоять, как пирамида Хеопса.

И вот уже солнце скоро сядет, а мы пыхтим с Вовкой целый день, маскируем наш блиндаж по всем правилам военного искусства.

Архипыч принёс свои штыковую и совковую лопаты, топор, молотки полегче (чтоб руки не сушили) и всё — больше сюда, к стройке, не подходит. Даже не поглядывает издалека — так, по крайней мере, нам кажется.

Да и когда ему, трудяге Архипычу, заниматься пацанскими забавами? Ещё перед Первым Мая приходил к нам во двор управдом, просил деда за хорошие деньги сладить новые ворота вместо этих — старых, обомшелых, обломанных, позорных, что бельмом торчат в самом центре местной достопримечательности — Казацкого вала. А материалы завёз ЖЭК только сегодня, считай через полтора месяца. Мы с Вовкой утром помогали Архипычу доску-сороковку, рейки, калитку новую с кузова сгружать. Вместе перетаскивали всё это добро к деду в сарай, от лихого народа, промышленяющего тут ночами, подальше.

А теперь Архипыч отдыхает. Не один — со старым своим при-

ителем, который умудряется всегда появляться и проходить по двору так, что нам его видно лишь со спины. Вот и сейчас; сидит он на летней кухоньке вполоборота, перезванивается с хозяином гранёными стаканчиками, речи свои ведёт, то тихо, то на подъёме, а лица не поворачивает, только шея в морщинках заметна.

Нам разговоры взрослых ни к чему. Но слушает их другой человек. И очень внимательно, хорошо затаившись слушает...

* * *

— А помнишь, Архипыч, весну на Хохляндии, 19-й, что ль, был год?

— Это когда на пасху разговелись?

— Точно. На неё самую. Раненько так, часу в пятом, погнал нас тогда Войналович в пешем строю, конница — в поводу, через мост. Броневик следом. Сам мост вынес бы, я знаю, капитан, сапёры твои — молодцом поработали, брёвнышко к брёвнышку. Да доски оказались гнилые.

— Доски?

— М-да! Гнилые настолько, что грозили провалиться в любую минуту. Пока мы стояли-решали, что делать — от Войналовича неясное какое-то донесение пришло: то ли паром для броневика искать, то ли горную артиллерию гнать для поддержки штурма. Стоп! Не бросай лучинку, я прикурю... М-да.

— В общем, проболтали-проорали вы там, и опоздали?

— Да ещё как опоздали! Большевики западнее зашли к нам в тыл, откуда мы не ждали — там же болото убойное, и как дали из своих «максимов» — оба эскадрона скосили, взвод Жебрака, обоз полёг...

— А броневик?

— Мы сами чуть ли не под колёса ложились, чтобы броневик через песок зыбучий перевести. И пропёрли его, как бурлаки, до самой Каховки, через три их разъезда.

— А с кем пёрли-то?

Во! Вопрос в цель. С мальчишками-юнкерами, с добровольцами из гимназистов и семинаристов... Еле-еле уползли. На Углянке, в урочище зазевавшегося красногвардейца из конного отряда умыкнули. Допросили — молчит. Ну, ты Войналовича знаешь. Отыгрались по полной — в капусту... Кстати, пленник командиром оказался — на пузе флаг был намотан... «Смерть буржуйам».

Мы с Вованом еле успеваем нишкнуть, пригнуться; совсем рядом с нами, за хлипким заборчиком, слышны знакомые похаркивания, злые мокротные плевки, а вот он и сам, дядя Митя Куц, шлёпает по лужам своими громадными дворовыми калошами. Опять полдня в уборной просидел! Он что, живёт там? Или спит с похмелья? Или к тёткам в дырки подглядывает?

Посмеявшись над своими предположениями, мы с Вовкой приступаем к последнему этапу стройки: наваливаем на стены дёрн, подсолнечное будылье, ветки тополей и орешника, сушняк виноградной лозы.

Всё? Всё!! Надо звать Архипыча на прием стройки. Но... Там спор, в легкой кухне. Да жаркий спор.

Видно в хорошо промытом стекле торцевого окошка сидящего к нам спиной (опять спиной!) гостя — рослого, крепенького ещё дедугана, который, постукивая в доливку (цементный пол) резиновым наконечником резной трости, неистовствует, кричит, позабыв обо всём на свете.

— А как мы могли двигаться, капитан? Как? Подков для перековки коней нет. Взять их в степи негде. Морозы жарят жуткие, а у казаков перчаток нет, обувь в жалком виде. Что ни день, взводные докладывают — то у бойцов обморожение конечностей, то простудные заболевания, а там и тиф пошёл гулять. Даже «волчий батальон» выть начал.

— Вот тут Будённый и выскочил с флангов?

— Да как выскочил! Погнал на нас три полные конные дивизии, в каждом полку до семисот шашек, артиллерию выставил, у нас же и отбитую, да какую — горную...

— А два бронепоезда вы куда дели, господин полковник? — хкекает рассерженно Архипыч. — Вам же тогда два бронепоезда прислали, «Слава офицеров» и «Генерал Дроздовский». Что, с их помощью не могли красных усмирить? Да мы с броневиками всю станцию Усмань враз взяли, всю станцию, поняли? Батарей ихнюю в полной упряжке я сам пригнал, как ездовой, следом за поездом. Вот какой рейдик у нас был. Подко-о-вы...

— Идите вы, капитан, знаете куда? — подскакивает с лавки и багровеет до апокалипсического состояния хорошо видный нам из укрытия тот, кого Архипыч назвал полковником. — Я сотню раненых через Хопёр на Невинномысскую переправил. Я вручную, без подрывных средств, рельсы и шпалы разобрал. Я телеграфных про-

водов сколько порвал... Я что, бездействовал?

Ровным счётом ничего не понимая в этой сваре, мы с Вовкой удивлённо переглядываемся, хлопаем глазами и не знаем, что же нам делать дальше? Оставаться на месте — деды вспомнят о нас, разозлятся, что мы их подслушиваем. Чухнуть отсюда мимо них бегом — опять, выходит, о себе напомнить, да и штаб погубить.

Хорошо, что невыносимую обстановку разрядила баба Аза, ковылявшая мимо спорщиков с помойным ведром.

— Вы что, ошалели? — обращаясь к своему Архипычу, но явно давая понять, что упрёк её касается обоих дедов, останавливается напротив летней кухоньки черноглазая вестница богов баба Аза. — Митька Куц, вон, в одних калошах побежал сейчас о вас доклады-вать, Аники-воины. А ну, марш до хаты, Архипыч. Провожай своего друга — и домой, живо!

Кубарем, следом за дедями, выкатываемся из садочка и мы с Вовкой. Надо нам отдышаться, надо отсидеться где-нибудь в другом месте. Надо придти в себя и обговорить увиденное, услышанное. Или не стоит этого делать? Нам-то, мелюзге, что до выяснения взрослых отношений?

Архипыч, проводив за ворота своего друга, домой упрямо не идёт. Шастает взад-вперёд по двору всё в том же привычном дворницком фартуке и в тех же стареньких, но всегда наяренных, начищенных-наблищенных ботинках с самолично выполненными набойками. Он рассерженно покусывает усы, изредка и невпопад шаркая метлой по уже убранной им с утра асфальтовой территории.

Двор идеально чист, разве что где-то под стеной в траве валяется полуобгорелая спичка или смятый конфетный фантик, занесённый сюда с улицы лёгким летним ветерком. И метла в руках Архипыча только для блезиру. Хотя, нет, наверное и для вымещения дурного настроения, которое он может скрыть только одним способом — какой-никакой работой.

— Шарк-шварк, шварк-шарк, — делает Архипыч высоким хвостатым венником на палке дугообразные движения по стёжкам-дорожкам двора, смахивая невидимые сор и пыль.

Мы с Вовкой сидим на ступеньках лестницы, ведущей наверх, на общую террасу. Хотели с корешком поговорить, посудачить, но выскочили из укрытия, и, оказалось, говорить особо не о чем. Молчим. Вован, подперев щеку неотмытой после земляных работ ладошкой, пристально наблюдает за махами метловища. А я... Меня,

как всегда, буйные неуёмные фантазии уносят далеко-далеко отсюда — от нашего дома, от нашего двора, от Вовки, от родного края...

* * *

Я в бою. Я иду в разведку боем по тылам беляков с донцами-пластунами выполнять секретный приказ самого товарища Будённого. Ночью, скрытно, мы берём в плен «языков» и протаскиваем их через все казацкие дозоры, через чёрный лес, через глухое поле, через болото, через дол на допрос в красный штаб. Мы захватили генерала-квартирмейстера Плющевского-Плющика, генерала Мамонтова и генерала Кутепова. Нет, Кутепова мы не дотащили, — прикончили его на разъезде у станции Коротояк, когда он вырвался и побежал от нас.

Мне Семён Михайлович Будённый лично вручает новенький, сияющий кровавой эмалью орден Боевого Красного Знамени. Обнимает и целует, щекоча большими усами. Архипычу он вручает именную шашку — представить себе не могу, чтобы мой любимый Архипыч воевал не на нашей стороне! Скорее, он был красный разведчик в белом вражеском стане, а мы с Вовкой что-то, видно, не разобрали, что-то недопоняли в разговоре двух дедов. Так бывает... Но если уж кто и виноват в чём-то, в гибели кого-то из наших, так это, видимо, и есть тот полковник с багровым затылком, что шипел на Архипыча, злюка шипящая. Мы вот оборудуем до конца с Вовкой свой штаб, возьмём бинокли и проследим, куда этот полковник ходит, с кем общается...

Так мы сидим, кое о чём болтаем и не придаём никакого значения тому, что въехала в наш двор новенькая серого цвета «Победа», откуда выскочили двое мужчин в синей форме, при красных погонах и зовут они к себе нашего царедворца Архипыча. Зовут, чтобы он подсел к ним в машину на заднее сиденье...

И Архипыч, отставив к стволу раскидистой сливы метлу, беспомощно вытирает руки о рабочий фартук, тоскливо смотрит вначале на небо, потом на своё крыльцо, потом на нас с Вовкой...

Чего это он? Плохих военных не бывает, и эти дядьки тоже ничего плохого ему не сделают. Видимо, что-то у них там в штабе построить надо или подубрать на территории. Вот и зовут с собой умельца Архипыча на помощь.

А мы, конечно, забежим сейчас с Вовкой на его крыльцо, поступим в окошко тёте Азе — пусть знает, где её муж, пусть не трево-

жится. Архипыч скоро вернётся. Вон и дядя Митя Куц наверху, словно угадав наши мысли, растягивает лады баяна и хрипло поёт:

*Я вернусь к тебе, моя старушка,
Я вернусь, когда растает дым...*

Слова этой песни мы уже слышали, но до конца их не знаем. Кто музыку сочинил — тоже не знаем.

Есть в начале жизни такая счастливая пора незнания, когда всё очень важное и очень нужное ещё впереди. Далеко-далеко впереди.

ТЕХНИКУМ

Я до сих пор так и не знаю, почему надо было писать на чертежах, на контрольных да в конце концов просто на тетрадях-конспектах не Сумской, а Сумский строительный техникум? Почему «и», а не «о»? И спросить теперь не у кого. Где та Украина... Где те Сумы... И где он, тот Сумский строительный техникум, который, как заводская проходная в ностальгической песне Николая Рыбникова, выводил меня в люди. Некогда 1 февраля каждого нового года был днем традиционного сбора студентов всех групп, на который я ни разу так и не выбрался. Однажды только успел дать поздравительную телеграмму, попросив в ней всех выпускников моей 74-й группы откликнуться. Не откликнулся никто. Может, тоже не сумели тогда приехать?

Ах, техникум! Ох, техникум! Эх, техникум! Где вы теперь, друзья мои дорогие, так наивно смотрящие на прощальной выпускной фотографии не в объектив нацеленного на вас фотоаппарата, а в саму жизнь. Где? Что с вами случилось?

Где ты, бессменный староста Виталий Полежай, единственный по-настоящему взрослый, уже отслуживший в армии, среди нас, пацанов-замухрышек, душивших на лекциях по не улечувившейся школьной привычке. Где ты, Коля Таранишен, мой бедный друг по несчастью? Не помню сколько ты, а я к концу второго курса нахватал по математике четырнадцать «пар» подряд. Столько наверное не получал никто и нигде ни в одном техникуме мира. И, конечно, меня надо было выгонять, несмотря на слёзы, сопли и заверения перед классным руководителем исправиться.

Но сразу не выгнали. А когда спохватились — надвигался уже

третий курс. И Пётр Кириллович Гранько — математик, геодезист, любитель футбола, водки и остроумных речей, собрал нас, человек пять, непроходимых тупиц, в летней аудитории на решающий экзамен. Дал каждому по две задачи и ушёл в спортзал к своему собут... в общем, к приятелю, Петру Савельевичу Дунаеву, в прошлом классному вратарю, когда-то игравшему в первой в Сумах футбольной команде класса «Б», а теперь преподававшему у нас физкультуру.

— Кирять пошёл, — грустно предположил сельский малый Толя Ракитский, который уже смирился с надвигающейся участью пастуха (ему её Пётр Кириллович предсказывал не раз, но Толян только сейчас начал всерьёз в это верить).

Таранишен молчал, сопел, что-то быстро писал в тетради, также быстро зачёркивал и вновь писал. Труженик он был неутомимый, особенно на практиках, надо отдать должное. А я рванул из аудитории. Расчёт был прост: или в библиотеке, или в общаге поймать кого-то из сокурсников, кто рубит в проклятущей этой алгебре, как я в других жанрах, и упрямить решить совершенно неподъёмную для меня хоть одну задачу. Ещё лучше — обе.

Видимо, правда, дуракам везёт. На моё счастье, бежала по коридору Валя Потанькина, лучший в группе математик, возле которой я тут же чуть ли не стал на колени, умоляя выручить. Да что там выручить, спасти.

И Валька, Валя, Валенька, которая в силу настоящей женской души простила мне все прежние обиды, села на подоконник, прикрыла юбочкой чудные свои коленки, на которые я, несмотря на трагизм ситуации, смотрел не дыша, и стала раскручивать поиск какого-то там неизвестного на букву «х». Нет, икс называется!

И, наверное, друг мой Валька успела бы дорешать и одну, и другую задачи до конца, да в эту пору из тёмной подсобки спортзала появился на свет божий что-то на ходу дожёвывающий толстяк Пётр Кириллович, сопровождаемый худеньким, добреньким, с красненьким носом, мило всем улыбающимся вратарем Петром Савельевичем.

— Побудь, Дунай, у себя, я сейчас вернусь, — ещё не увидев нас, скомандовал Гранько Дунаеву.

А увидев, замер.

— Аршанский! Ты что здесь делаешь? Почему не в аудитории? А? Как надо всегда про запас иметь оправдание! И я таки его имел.

— Пётр Кириллович! Да таблица Брэдиса нужна для логариф-

мов. Я в библиотеку — закрыто, вот у Потанькиной прошу.

— Чего ты у неё просишь? — мило встрял в разговор по-прежнему улыбающийся вратарь с клоунской физиономией, так и не отставший от Петра Кирилловича.

Пока два Петра выясняли между собой, кому куда идти, мы с Валецкой слиняли, она — в общагу, я — на каторгу, в обвешанный Эвклидами, Лобачевскими и всякими Пифагорами кабинет, где Гранько устраивал нашей пятёрке аутодафе.

В аудитории мало что изменилось. Толя Ракитский задумчиво рисовал будущее своё стадо — коз, коров, быков.

Таранишен, низко-низко склонившись и угрюмо сопя, всё с той же скоростью что-то лихорадочно писал — теперь уже на зелёной обложке тетради, где шла клятва юных пионеров. А все двенадцать белых листиков тетради он успел за этот час густо испещрить, сплошь и рядом заполнить.

Двое пацанов не из нашей группы просто курили за последним столом, нервно позёвывая, и односложно беседовали, явно ожидая, что Гранько сходу их выгонит первыми.

Он и выгнал их первыми. Потом отправил в родной колхоз тепло с ним попрощавшегося Тольку Ракитского. «Гам, Ракитский, учи математику, с быками вместе», — напутствовал его Пётр Кириллович.

— И тебе, Таранишен, два, понял? — мстительно перелистывал листок за листком школьной Колькиной тетради Пётр Кириллович. — Ты что мне тут намалевал, а? Что намалевал, я спрашиваю?

Бледный как мел Таранишен, истерично показывая мне знаки под столом, чтобы я быстро отвернулся от этой сцены или вообще быстро убрался подальше в угол, тихо шептал Петру Кирилловичу:

— Вы той... Я той, Пётр Кириллович. Мы это... Батя там приехал из села, вас ждёт. Кабанчика мы хорошенького той, за-к-кабанили, там сальце привёз, там колбаски, сальтесон, это...

Математику столь долго объяснять простые вещи?

— Три тебе, Таранишен. Три! Иди. Жди меня с батякой своим у выхода. Переговорю я с ним, почему ты такой дурак.

Меня спасла Тамара Ильинична, секретарь учебной части, мамина подруга с довоенной поры. Она и была предупреждена мамой о готовящейся мне сегодня казни и не ушла сразу после работы. Сидела ждала начала расправы.

И когда Пётр Кириллович, быстро пробежав взглядом первый, второй и третий листок этих нескончаемых дурацких задач, которые как орех расщёлкала, да не успела дорешать спасительница моя Валечка Потанькина, стал искать листок четвёртый, — завершающий, а его не было, потому что я не знал что там в конце писать, Тамара Ильинична и выросла в дверях. Статная, с бюстом, который не снился лучшим американским актрисам, с глазами с поволокой, она, словно и нет меня, пацана, в аудитории, томно протянула, сложив сочные свои губы гузочкой:

— Ну-у? Мы с Дунаем долго тебя будем ждать? М-м-м?

И столько неиспитой страсти, столько неги и ласкового обещания было в этом дамском «м-м-м», что не только Гранько, а и, скажем, американский сержант Том Вуд, известный тем, что накидывал петлю на шею одному из главных нацистских преступников по приговору Нюрнбергского трибунала, помедлил бы, прежде чем это сделать.

Пётр же Кириллович вообще свою казнь отменил.

— Ладно, — сказал он, — сжимая и разжимая хорошо мне знакомые толстые свои пальцы, которыми умело выписывал теоремы на доске и которыми безжалостно ставил мне сплошные «неуды» в журнал да в зачётку. — Ладно. Иди, Аршанский. Три. Брат у тебя был хороший. В самодеятельности у нас выступал...

Он говорил это и всё массировал пальцы, словно уже дорвался до приподнятых персей Тамары Ильиничны и мял, и давил, и сокрушал их мощным напором своим, плотью, всем гарным своим обликом, так хорошо сохранившимся и к пятидесяти годам.

Я вышел под дождь. Под проливной не такой уж тёплый июльский дождь. И земляки мои, сумчане, прятавшиеся в тот час от непогоды под зонтами, воротниками, козырьками домов, навесами, балконами, балахонами плащей и сложенными вчетверо газетами, видели в тот день настоящего городского сумасшедшего, который, то улыбаясь вовсю, а то и хохоча в голос, шёл, мокрый, по самой длинной улице — Ленина, не замечая ни луж на тротуарах, ни потоков воды на дорогах, ни струй дождя с крыш. Плевать! На всё плевать! Три!!

Он шёл и смеялся, давясь слезами от счастья, потому что со вторым курсом кончалась ненавистная математика и можно было теперь подавать заявление на стипендию — пусть не за успехи в учёбе, а в силу трудного материального положения (тогда такую дава-

ли). И можно было мечтать, можно было планировать жизнь дальше: купить на первую стипендию белые очень модные носки за два пятьдесят, новый ремешок к наручным часам «Урал», которые подарил старший брат, выпускник этого же техникума, домашние тапочки в подарок отцу и узорчатую косынку маме. Что ещё планирует шестнадцатилетний человек?

— Сэмэн! — кричал мне с той стороны улицы полуголый однокашник Витька Шульженко, придерживая одной рукой велосипед, другой держа сетку с уловом карасей и плотвы. Только-только, видимо, выбрался с нашей речки Псёл, убегая от грозы. — Сэмэн!! Ну шо, сдав?

И я орал ему через дорогу: «Сдал, сдал!» И Витька от избытка чувств щёлкал себя пальцами по горлу, радуясь моей удаче и призывая должным образом вспрыснуть это дело...

* * *

С Колькой Таранишеным самым непостижимым образом мы увиделись последний раз в поезде, увозившем меня из Сум в новую жизнь. А его — возвращающимся после армейской службы сапёром в Германии домой, в родное село. Кажется, не узнай я его — он бы меня и не узнал. А узнав, кивнул равнодушно, словно расстались только вчера (а прошло-то уже добрых шесть лет), и так же, по-дежурному, спросил:

— Ну, как ты, где?

А мне что-то в подробностях и рассказывать ему ни о чём не захотелось.

Валечка Потанькина живёт в своей Золотоноше, и не знаю, сохранила ли она в девичьей корзинке ту нашу выпускную техникумовскую фотографию.

До семидесяти лет преподавал в Сумском строительном техникуме математику и геодезию седой орёл Пётр Кириллович Гранько, из всей математической науки которого я на всю жизнь запомнил только две сложные вещи: чему равен квадрат суммы и чему — квадрат разности двух чисел. Ей-богу, знаю. Хотите, расскажу?

А по геодезии с третьего курса я учился у него сносно. И практику с теодолитом, нивелиром прошёл исправно, прилежно ведя дневник, отмечая все реперные точки, послушно таская рейку под жарким украинским солнцем по улицам и площадям (майdanам) миста Сум («мисто» — значит город).

Сложнее вышло только с лучшим моим закадычным дружкой Витей Шульженко. Тем, с кем в те годы вместе мы ходили по выходным заниматься в музыкальный кружок при Доме культуры машиностроителей. Не потому, что он так страстно любил осваиваемую домру, а я, тугоухий, — барабан. А потому, что Витька почему-то непременно хотел украсть эту домру, и всё никак ему это не удавалось. Да так и не удалось.

Тем, с кем на танцевальные вечера в техникум мы ходили не как все люди — через главный вход, а непременно проникая какими-то грязными подвалами, пыльными чердаками, запутанными коридорами — простых путей Витька никогда не признавал, слишком пресно.

Тем, с кем ночи напролёт резались мы в карты, а потом в шахматы, когда нашу группу посылали на сбор картошки или кукурузы в отстающий колхоз.

Тем, кто так фанатично любил пинг-понг, настольный теннис и передал эту любовь мне. Техникумовские сторожа, добрые души, пускали нас, опять же, посмеиваясь, не бранясь с вечера до полночи, гонять целлулоидный шарик в подвале учебных столярных мастерских.

Витька... Виктор Афанасьевич с прекрасной фамилией Шульженко. Правильное отчество Витьки было Опанасович, потому что имя отца, украинское, Опанас, а не Афанасий. Но Витька смущался, краснел: «Опанас... Дума про Опанаса». И зло ругался в техникуме, когда в дипломе записали ему отчество как по паспорту — Опанасович.

Прекрасный инженер-чертёжник, умница строитель-проектант, добрый к своей дочери отец и прекрасный муж, Виктор умрёт в 44 года. Умрёт бесславно, похоронив себя за короткий срок в пьяных делах.

Дочь выйдет замуж за приезжавшего в Сумы на заработки португальца и уедет потом к нему на родину на постоянное место жительства, где родит сына Андрэ и дочку Софиюку.

Потосковав несколько лет, ненадолго сойдясь с каким-то жлобом и уверившись, что любовь-морковь эта — от тоски, но не от сердца, уедет к дочери, зятю и внукам Виктора вдова — Раиса.

А я? Я, Витя, помню, что твой день рождения — 29 мая. Что ты был на год старше меня. Что у нас с тобой была прекрасная юношеская дружба, которую разъединила армия — ты попал на три

года в стройбат в Выборг, под Питером. Я — на три года в авиационные связисты на Тамбовщину...

И теперь мой долг перед тобой — написать обещанную книгу «Пьяная вишня», чтобы в ней — всё всерьёз, без утайки, как было, как жили, как умели дружить, не прогибаясь ни перед какой сволотой ни в 16 лет, ни в 60... Впрочем, твои-то 60 так и не состоялись, Виктор.

И если я приеду, а я обязательно приеду в Сумы, город необширный, неохватный в детстве, а теперь сузившийся до размеров могильной оградки, где похоронены мои мама да батя (на гранитном надгробье которого чья-то рука сломала армейскую звёздочку — память о защите отцом, рядовым военно-воздушной роты, города Сум в июле 1941-го...), я побываю и на кладбище в Луке-Барановке, Витя. Спрошу у смотрителя журнал, найду, где, в каком квартале твоя могилка. Положу цветы.

И знаешь, Витя! Возвращаясь кладбищенской тропой, не вслух, не в голос, а про себя, мысленно, позволь, спою. Ту нашу, техникумовскую. Помнишь?

*У нас на физкультуре,
Словно в цирке,
Гастроли Пётр Савельевич давал,
Какие рожки нам корчил, какие трюки выдавал.
Гранько Пётр был парень очень бравый,
Он румбы хорошо нам объяснял,
О, сколько жизненных советов
Он нам, студентам, подавал.
Немецкий Ольга Зудина читала,
Про химию всё Катрич объясняла,
А Ломберг нам под вой сирены
С машины искры извлекала...*

У каждого из нас в жизни была своя школа, свой техникум, свой институт, свои университеты. И дело, наверное, вовсе не в том, какой там был профиль и в каком городе твой вуз располагался. А в том, каким ты сам впервые вошёл в его стены и каким вышел. Как говорится, квадрат разности двух чисел равен квадрату первого числа...



Пётр АЛЁШКИН

СНЫ ИВАНА

Рассказ

*Не все ли равно, про кого говорить?
Заслуживает того каждый из живших на земле.*

Иван Бунин

А этот человек, безногий Иван, более чем кто-либо заслуживает разговора о его жизни.

Почти каждый день можно увидеть его в подземном переходе к станции метро «Третьяковская». Он сидит спиной к стене, к холодным кафельным плиткам мутно-грязного цвета, на низкой деревянной коляске-платформе с маленькими колесиками из подшипников. Проходим, торопливо плывущим мимо него в бесконечном потоке, кажется, что у него нет не только ног, но и живота, что он лишился всей нижней части своего тела по грудь и похож теперь на живой бюст, снятый с пьедестала и поставленный к стене на тонкую деревянную платформу с колесиками.

Пётр Алёшкин родился и вырос на Тамбовщине — в деревне Масловке Уваровского района. Работал в колхозе, на комсомольских стройках, на заводе. Окончил Тамбовский пединститут и сценарный факультет ВГИКа. С начала 1980-х годов живёт в Москве и работает издателем. В настоящее время возглавляет столичное издательство «Голос-Пресс».

Ещё в юности начал публиковаться как прозаик в газетах и коллективных сборниках. Сегодня в его творческом багаже более 20 книг, его произведения переведены на английский, немецкий, французский, китайский и другие языки, не раз попадали в списки бестселлеров.

Секретарь правления Союза писателей России.

П. Алёшкин часто бывает в родных местах; недавно в Тамбове с большим успехом прошли его творческие встречи с читателями.

У каждого, кто случайно кинет на него взгляд, невольно возникает в душе жалость, беспокойство, непонятное чувство вины, и прохожий суетливо отводит взгляд, еще торопливей проходит мимо, стараясь поскорее забыть его. Ведь тем, кто ездит в метро, новая жизнь принесла одни заботы, проблемы, нужду, у каждого своя боль, свои горести, и большинство людей, как это ни горько, в тяжкие последние годы привыкло не пускать в свою душу чужую боль. Лишь изредка кто-нибудь приостановится, смущенно, виновато вытащит кошелек, бросит мелочь в серую кепку, лежащую пред обрубком человека, и, не оглядываясь, заторопится дальше, со смутным чувством беспокойства в душе благодаря Господа за то, что дает возможность бегать по земле на своих ногах. А Иван молча слушает глухой звон монет в своей кепке и не поднимает головы, ничего не говорит вслед сердобольному человеку. Он молчалив, не докучает прохожих жалобами на свою судьбу, не просит подать ему ради Христа на пропитание. И самодельного плакатика с жалостливыми словами нет перед ним. Только потрепанная кепка с медной и мутно-серебристой мелочью. Лицо его, худое, тонкое, серое, с продолговатым тонким носом, всегда хладнокровно, бесстрастно. Спокойные глаза умны, но смотрят внутрь, давно привыкли к мелькающим мимо ногам, шуршащим подошвам и резко щелкающим каблукам в сухую погоду по пыльным плитам перехода и хлюпающим и мягко чмокающим осенью и зимой.

Сегодня в переходе сыро, грязно. На улице метет. Люди, спустившись по мокрым, заснеженным гранитным ступеням в довольно глубокий теплый переход, смахивают с плеч снег, выбивают его из шапок. От таящего снега на полу мутные разводы, грязные лужи. Иван с утра догадался, что будет слякотно в переходе, и прихватил с собой небольшой картонный лист, подложил его под кепку на мокрый пол. Как всегда, он внешне спокоен, невозмутим, но мысли его тревожны. Думает Иван о матери. Утром она с трудом, громко охая и кричтя, еле сползла с кровати, еле добрела до умывальника, тяжело бормоча на ходу, скорее всего для себя, чем для сына, привычные для него слова, мол, если бы не сын-калека, то давно б уж не встала с постели, померла спокойно, ничего радостного в этой жизни ее не ждет. Она уже третий день не выходит из комнаты, ноги ослабели. Не приведи Господь, думает Иван с тревогой и тоской, ноги у нее совсем откажут. Что тогда делать с матерью? Как он будет ухаживать за ней? Руки у него сильные, но не на что опереть-

ся, чтобы поднять ее, перевернуть в постели, перестелить простыню. Иван не замечает привычное мельканье ног перед его лицом, не слышит мокрое шлепанье обуви по бетонным плитам пола, не слышит редкий звон монет в кепке, не слышит шуршание газеты, которую расстилают у стены рядом с ним, сопение, легкие стоны опускающегося на газету человека. Очнулся он только тогда, когда этот человек, тихонько, дружелюбно толкнул его в плечо, говоря:

— Привет, Иван!

Иван повернул к нему голову, узнал таджика, бомжа, и уголки его губ чуть-чуть приветливо дрогнули. На приветствие он не ответил.

Но таджик и этого было довольно. Он знал, что Иван не разговорчив. Имя у таджика было длинное, слишком заковыристое для простого языка, и потому его стали звать Юсупом. Он привык к этому имени, и охотно откликался.

— У-у, зябко! — передернул плечами Юсуп, потирая руки, и прижался спиной к стене.

На нем было старое грязное пальто с вытертым облезлым овчинным воротником, старая кожаная шапка-ушанка, какую носят деревенские мужики. И пальто, и шапка, и редкие черные волосы на его смуглом до черноты морщинистом лице тускло блестели капельками от растаявших снежинок.

— Худо! Совсем худо! Худой день! Согреться надо, — бодро проговорил Юсуп.

Он шустрым взглядом черных глаз окинул переход со спешащими мимо людьми; нет ли поблизости милиционера. Убедился, что нет, и сунул руку за пазуху, вытащил четвертинку дешевой водки и смятый пластмассовый стакан, который он только что взял со столика у киоска, стоявшего в переулке неподалеку от спуска в переход. Кто-то выпил кофе и оставил его на столике, не выбросил в урну.

Юсуп с хрустом расправил стакан, со сладострастным блеском в нетерпеливых маленьких черных глазах быстро свернул головку четвертинке, плеснул в стакан водки и протянул Ивану. Тот взглянул в сторону светлеющего неподалеку входа в переход навстречу потоку людей, туда, откуда всегда появлялась она: рано еще, подумал Иван и неспешно взял, неспешно выпил и вернул стакан. Таджик сунул ему карамельку:

— Засоси!

Юсуп снова нетерпеливо булькнул водку в стакан и мигом выпил.

— А-а-а, — радостно выдохнул он. — Сейчас потеплеет.

Юсуп сунул бутылку и стакан назад, за пазуху, и снова прижался спиной к стене, замер, закрыл глаза в ожидании, когда тепло разольется по всему телу. Тогда еще можно будет немного выпить, уже не для тепла, а для радости жизни.

Иван медленно катает языком во рту карамельку. Тепло быстро растекается по маленькому остатку тела Ивана, туманит глаза, наполняет сердце нежностью к таджику.

Юсуп ростом мал, но крепок, здоров. На вид старик стариком, а ему еще и пятидесяти нет. Где-то далеко, в теплой стране, у него была семья: жена, отец-мать, дети. Их кормить надо было, а денег в теплой стране заработать негде. И подался он в холодные края, строить богатую Москву. Уверен был, что каждый месяц будет посылать деньги домой, семье. Он когда-то был в Москве, провел в ней три дня по пути домой из армии, помнил дружелюбных москвичей, помнил шумные улицы, строгий и добродушный Кремль, веселые парки, помнил это и верил, что не пропадет в Москве, сможет поднять семью. Никто не сказал ему, что Москва давно уже не доброжелательна и не добродушна, и веселье ее тревожное и жуткое, как перед смертью. Беззащитного таджика московские мошенники обманули раз, обманули другой, третий, лишили паспорта. Постепенно опустился он на самое дно. Стал бомжем по кличке Юсуп.

Юсуп дремлет, растягивает в улыбке тонкие коричневые губы, видно, семью вспоминает, детей, свои счастливые молодые годы в большой стране, которая защищала маленького человека. Иван тоже прикрыл глаза, чувствуя блаженное состояние от легкого хмеля, теплоту, поднимающуюся из глубины души. Легкий волнообразный шум в ушах от выпитой некачественной водки сливается с непрерывным шорохом и шумом движущегося рядом потока людей, шлепаньем и чмоканьем подошв, и кажется Ивану, что сидит он не в грязном московском переходе, а на горячем большом валуне, на берегу моря.

Явственно видит он свои крепкие загорелые ноги, чувствует икрами ног жгучее тепло от нагретого солнцем камня, играя, шевелит пальцами ног. И как радостно, как чудно было чувствовать тепло ногами, просто шевелить пальцами! Он засмеялся и повернул сияющее лицо к сидевшей рядом с ним на камне Тамаре, своей однокласснице.

— Ты чего? — спросила она, повернув к нему необыкновенно

прекрасное на солнце милое лицо. На щеках ее играли блики от живого шевелящегося моря.

Легкие неспешные волны набегали на берег, хлопали легонько меж камней с ярко-зелеными водорослями, шуршали галькой. Невозможно было смотреть на воду в сторону солнца. Море, поигрывая, слепило глаза искрами. А в противоположной от солнца стороне море было радостно многоцветным: нежно-бирюзовым, изумрудным, цвета салата, небесным, голубым, синим.

— Я счастлив, — ответил он просто. — Я счастлив, что ты рядом. Счастлив, что мы сбежали от ребят и теперь вдвоем. Счастлив, что мы после экзаменов примчались в Крым. Счастлив, что море такое тихое, а солнце такое нежное. Остановись, мгновенье! — вскрикнул он, скидывая руки. — Ты прекрасно!

— Нет, не остановится, — засмеялась в ответ Тамара счастливым смехом и вздохнула. — Беззаботен только этот миг. В Москве нас ждут новые экзамены, и разведут нас всех дорожки в разные стороны: кого в институт, кого в армию, кого в безработные.

— Но мы-то, мы-то по одной дорожке будем шагать! Ведь правда, правда?! — схватил он ее за руку.

— Правда, — вздохнула она и прижалась к его плечу горячей щекой.

— Будем шагать вместе вперед, вверх, к солнцу! — страстно воскликнул он и приостановился, умолк, потом спросил с тревогой: — Почему в твоём голосе сомнение? В чём ты не уверена? Может, в себе? Во мне?

— Сколько людей до нас стремилось к солнцу и опалило крылья...

— Тебя волнует такой пустяк? — перебил он Тамару. — И только это тебя беспокоит?

— Разве кто-нибудь знает, что ждет его впереди, что будет с ним в будущем?

— Я знаю, я! — снова страстно воскликнул он. — Вернемся в Москву, я поступлю в институт. Там с первого дня включусь в студенческое движение, стану активистом. Я буду лезть на каждую трибуну, я буду страстно жечь сердца людей, поднимать народ на борьбу с криминалом, захватившим Кремль. Буду биться, чтоб все воры-олигархи оказались в тюрьме вместе с их паханами. Окончу институт, вступлю в партию...

— В коммунистическую?

— Нет-нет, коммунистическая идея хороша, но руководят партией сейчас предатели. Они заодно с кремлевским криминалом, только на словах за народ. Я вступлю в партию, которой пока нет, но через пять лет она появится. Не может быть, чтоб не объединились люди, которые за свой народ, за свою землю, за Родину готовы отдать жизнь. Такие люди есть! Они не перевелись. Их много, только они разобщены. Появится такая партия, пока я буду учиться в институте, непременно появится. Вот в нее-то я и вступлю...

— А если не появится?

— Если не появится, то я ее создам! Я объединю всех, кто на деле, а не на словах любит наш народ, нашу Родину. Не верю, что в институте не будет моих единомышленников. Как бы нас не развращали, как бы не кормили наркотиками, всех не замажут, не развратят. Вот ты-то не развратилась, и я, ребята наши тоже наркотиков не нюхали, — показал Иван рукой в сторону палаточного лагеря, где остались их друзья.

Одинокая волна шлепнула по валуну, резко щелкнула, и Иван открыл глаза. Нет, это не волна ударила в прибрежный камень, это неуклюжий прохожий выронил из руки на грязный пол свой пластмассовый кейс. Потом быстро подхватил его и стал хмуро разглядывать испачканную крышку кейса. А Иван мельком взглянул в сторону входа в переход, не видно ли ее, и, не закрывая глаз, вернулся в Крым, к Тамаре. Да, сразу после выпускного вечера друзья-одноклассники летали к морю, чтобы отдохнуть, отвлечься от учебников, набраться сил перед вступительными экзаменами. Да, часто уединялись они с Тамарой на берегу моря, да, был он необыкновенно счастлив в те короткие дни и ночи, но не было того разговора, который примнился ему. Застенчив был, стеснялся сказать Тамаре, что он счастлив рядом с ней, стеснялся поделиться мечтами о будущем. Мечты так и остались мечтами. В институт он не поступил в тот год, принимали в него почти всех студентов за деньги. Осенью взял в армию. Он верил, что после службы непременно поступит в институт, не тратил время зря, читал, готовился. И вдруг Чечня, новогодняя ночь, нелепый непонятный штурм Грозного...

Иван прикрыл глаза, и мигом перед ним запыхала танки, дома, загрохотало, затрещало вокруг. Он застонал и испуганно вскинул веки. Юсуп услышал его стон и с сочувствием спросил:

— Плохо?

Иван вздохнул.

— Будешь еще? — Юсуп сунул руку за пазуху и вытащил четвертинку.

Карамелька рассосалась во рту, но еще чувствуется сладость от нее, потому теплая паленая водка кажется особенно противной, тошнотворной. Но через минуту горечь во рту исчезает, и он снова начинает вливаться в блаженное состояние и с опаской закрывает глаза, но ни огня, ни грохота разрывов нет. Тихо. Только шорох, влажное шлепанье ног, говор прохожих. Иван прислушивается: нет ли среди этого бесконечного движения звука шагов той, которая ежедневно проходит мимо и каждый раз непременно останавливается возле него, кладет пять рублей в кепку.

Сплошной шум в ушах вдруг переходит в одобрительный рокот народа, аплодисменты. Иван пробирается сквозь громадную толпу, заполнившую Красную площадь, к мавзолею, на трибуне которого стоят несколько человек. И один из них выступает. Говорит быстро, страстно, горячо, взмахивая рукой и резко бросая ее вниз, чтобы выделить особо важную мысль. Народ выдыхает единой грудью, когда его рука падает вниз. «Иван! Иван! — слышит Иван радостные возгласы вокруг себя. — Наконец-то пришел Иван!» Иван все ближе и ближе пробирается к мавзолею, и вдруг узнает в ораторе себя. Да, это он стоит на трибуне и призывает народ к действию.

«Сколько можно терпеть дармоедов и воров на нашей шее?» — яростно кричит он в толпу.

И народ единой грудью выдыхает: «Хватит! Натерпелись!»

«Они ненасытны, — машет Иван в сторону Кремля. — Никогда не насытятся народной кровушкой! Пора освободить Кремль от кровопийц!»

«Пора!» — единодушно выдыхает народ.

«Так в чем же дело! — кричит-призывает Иван. — Вот он, Кремль! Рядышком! Идем и освободим его!»

Мигом слетел Иван по гранитным ступеням трибуны на площадь и бросился к воротам Спасской башни.

«Освободим! Урра!» — ринулся народ за Иваном в Кремль сквозь Спасскую башню, затопил собою Ивановскую площадь, соборы, Кремлевский дворец.

И вот уже этот самый народ в зале суда. На скамье подсудимых и бывший президент, и настоящий, рядом с ними — многочисленные премьер-министры и министры, олигархи-проходимцы и прочие миллионеры-мошенники. Большая скамья получилась. И глав-

ный обвинитель от народа опять он, Иван. И опять он страстно клеймит подсудимых кровопийц, на этот раз он перечисляет многие факты их преступлений перед народом и страной. В зале тихо, только страстный, гневный голос его звучит, требуя самого сурового наказания мучителям народа. Иван возбужден до дрожи и возбуждается все сильнее и сильнее... Вдруг кто-то сзади легонько дергает его за плечо, слышится встревоженный голос:

— Иван, Иван! Ты что дрожишь? Заболел? Плохо?

Иван вскидывает голову, видит черное лицо Юсупа и сразу перестает дрожать.

— Заснул, — бормочет тихо Иван и смотрит в кепку.

Там две бумажные купюры и горсть монет, среди которых он разглядел три монеты по пять рублей. Возможно, одна из них ее. «Проспал, прошла!» — с горечью думает Иван. Он берет из кепки одну бумажку и пятирублевую монету, но задерживает руку над кепкой, кладет монету назад — «вдруг именно ее положила она», потом отсчитывает пять рублей и протягивает Юсупу вместе с бумажкой:

— Пивка возьмешь себе?

— У меня еще осталось, — Юсуп суетливо сунул руку себе за пазуху. — Добьем?

— Не надо, — отказался Иван. — Я в аптеку пойду. Мать заболела.

— Я тебя провожу, — стал подниматься Юсуп. — А то заболтался я с тобой. Работать надо.

Иван сыпал мелочь из кепки в карман, предварительно вынув из него старые перчатки. Натянул поглубже кепку на голову, перчатки на руки, и они пошли к выходу. Иван отталкивался сильными руками от мокрого пола, железные колесики его глухо гремели, скрежетали по бетону, постукивали на стыках плит. Прохожие расступались, освобождали ему проезд.

На улице смеркалось. При свете фонарей метель, казалось, разыгралась еще сильнее.



Игорь ЛАВЛЕНЦЕВ

КУНИЦА

Рассказ

Ночь, как шкура коричневого зверя с черным хребтовым ремнем.

Нет, такого не бывает, это не явь. Неявь — одним словом, или морок, или потаенный страх. Большая куница, летящая в прыжке против ветра, пробивающая сквозняковым взрывом сито темного сознания. Ночь гибкая, как бритвенная сталь, мягкая, как брюхо паука.

У каждого хранится в дальнем зашитом кармашке свой символ страха, но имя сокровенному кумиру одно — смерть. Когда Иван Зуев гонит от себя страх, он прогоняет куницу, неясного, смутного хищника с тайной в маленьких черных глазах.

В конце ноября прошлого года по шоссе, протянувшемуся сквозь напрочь легший снег, на своей новенькой вишневой «Ниве» он мчался на Селякин кордон. На этом одном из немногих нынче одиночных кордонов доживал свой век лесник Селякин с малообъяснимым потомственным прозвищем Гаркун, с молчаливой женой Валентиной.

Игорь Лавленцев (1963-2005) не успел сделать того, что мог и планировал. Но и сделано им немало — вопреки болезням, инвалидности.

В Союз писателей России его приняли в 2001 году, но настоящий его писательский стаж отсчитывался с 1983 года, когда в тамбовской «молодёжке» появились его первые стихи.

С тех пор его стихи и проза публиковались в журналах «Юность», «Смена», «Москва», «Подъём» и других престижных столичных изданиях. При жизни Игоря вышло три его поэтических сборника: «Чёрный турман», «Элегия скола», «Смиренная декада».

Почему доживал? Да потому, что был Гаркун лет на десять старше уже покойного Зуева старшего, что по нынешним временам при средней продолжительности жизни наших мужиков можно считать возрастом весьма почтенным.

С отцом Ивана они дружили. По приезде в отчие места в своих бывлых лесных походах с ружьем ли, с лукошком ли Зуевы непременно забредали на обширный, добротный, похожий на глухой раскольничий скит Селякин кордон. Без застолья с хорошей выпивкой и обильной едой уйти от Гаркуна было невозможно. Если же ему удавалось уговорить гостей заночевать, что чаще всего и случалось, радости старика, казалось, не было конца.

В нечастых своих городских вылазках Селякин останавливался со своими лесными гостинцами сначала у отца, потом у Ивана, неизменно зазывая на охоту, или за грибами, или просто отдохнуть. И Зуев приезжал, приезжал зимой и летом, один и с товарищами. В этот раз подзадержался.

Желание пестовалось едва ли не целый год, но не пускала суетная лень, оправданием которой была суетная занятость. И вот, что называется, сорвался, убежал. Накануне расстался с женщиной, с которой довольно мирно прожил почти три года. При всей видимой умеренности взаимных чувств разлука явилась для Ивана неожиданным и весьма ощутимым ударом. А тут еще нелады по делам, угарный суточный режим...

Машину он оставил в близлежащем селе у родственников. И, вскинув на одно плечо свою ижевскую вертикалочку, на другое рюкзачок с обиходным джентльменским набором, отправился на кордон пешком.

Селякин был по обыкновению сентиментален, хозяйка хлопотлива, стол вполне достаточен. А утром, еще затемно, Гаркун разбудил Зуева на скорый завтрак.

Старик ходил на своих широких лыжах неторопко, но уверенно и выносливо. Иван же поначалу рвался в бой, и медлительность Селякина несколько угнетала его. Шли они на обход северного участка, особо не рассчитывая на охоту. Зуев, чувствуя здоровый зуд в мышцах, позволял себе убежать километра на полтора вперед и опять возвращался к неспешно шагающему Гаркуну.

— Не скачи понапрасну, — оговаривал тот. — Гляди, ускачешься — и язык на плечо.

Угадал старче. Километров через десять окружного пути, за которые Иван по глупости своей, челноча взад-вперед, отмерил все двадцать, усталость дала о себе знать. Он уже не убегал от лесника, смиренно идя вровень, а через некоторое время, к своему позору, помимо всякой воли стал медленно и неотвратимо отставать от неторопливо, подобно старому, но надежному механизму двигающего лыжами Гаркуна.

Вот тут-то, на исходе первого и, как думалось Зуеву, единственного его дыхания, собаки лесника — палевый кобель Агат и серая сука Майка — засекли в разлапистых верхах сосен зверя. Гаркун, энергично, призывно помахав ему рукой, прибавил ходу и устремился за собаками. Собрав остатки гордости в кулак, Иван ринулся за стариком

— Вон она! Гляди! — крикнул Селякин.

Взглянув по указанному направлению, Зуев увидел перелетающую с сосны на сосну, подобно молниевому зигзагу, крупную, казавшуюся на фоне неба черной, куницу. Она замирала в лохматых хвойных ветвях, но как только они с Гаркуном приближались к облаиваемому собаками дереву, она снималась и вновь скоро уходила метров на триста и более, уводя за собой собак.

Сбой в ритме движения пошел не на пользу Селякину. Теперь уже он начал явно уставать, но, раскрасневшийся, распаленный охотничьим азартом, и не думал прекращать погоню. Иван же, не менее старика разгоряченный ловчей страстью, с первых минут, напротив, забыл о своей усталости и получил-таки возможность уверовать в существование до сей поры воспринимаемого им гипотетически второго дыхания. Он от души гнал куницу заданным ею направлением, поспешая за собаками.

— Беги наперерез, вот так, к торфяному болоту! А мы ее потихоньку аккурат на тебя выведем...

И Зуев побежал наперерез к торфяному болоту. Сначала ему казалось, что они расходятся с Гаркуном в разных направлениях, но, полностью полагаясь на опытного, мудрого лесника, Иван продвигался в указанную сторону и вскоре в который уж раз за один этот день убедился в его заведомой правоте.

Лай собак, удалившись на достаточное, но словно чем-то ограниченное расстояние, действительно пошел по кругу. К торфяному болоту они подходили с небольшим разрывом по времени, но почти параллельным курсом. Выбрав позицию, взяв на изготовку ру-

жье, Зуев слушал приближающийся лай собак. Ближе, ближе...

Страшно хотелось курить, но, напрягшись в ожидании, он боялся упустить момент своего участия. Стоя на возвышенности, Иван уже видел собак. Всматриваясь в сосновые кроны, он пытался отыскать черную тень куницы, но неопытный взгляд тщетно путался в заснеженных хвойных переплетениях. Зуев увидел Гаркуна, тот торопливо шел к собакам, держа, как и Иван, ружье в руках.

Старик остановился, вскинул ружье и выстрелил, через секунду эхо выстрела долетело до Зуева. Вот тут он ее и увидел. Куница падала, задевая ветки, сбивая с них рассыпавшийся туманом свежий неслежалый снег. Перекинув через плечо свою вертикалку, Иван устремился к Селякину.

Тот, не снимая лыж, сидел на корточках, привалившись спиной к толстому шершавому стволу сосны, держа на коленях свою старую тозовскую двустволку. Лицо его было бледно, дышал он тяжело.

— Ах ты, стерва, совсем умаяла... Никак не вздохну... — выговаривал он, кивнув на распластанную на снегу, необычайно красивую даже в таком неприглядном виде хищницу. — Думал, смерть моя, вот она, пришла за мной. Ну уж, думаю, милая, как ты хочешь, а я тебя все одно не упущу. Помогите-ка мне встать, а то засижусь совсем.

Иван помог встать на ноги вздыхающему, кряхтящему леснику и взял в руки куницу. В весомере, еще теплом на ощупь и подвижном, но все же мертвом теле чувствовалась гибкая, ловкая сила хищника. Гаркун оглядел рану под маленьким пушистым ухом.

— Ничего, — сказал он. — Обдерем чулком, цельную шкуру сделаем, знатно будет на плечах лежать. Вот как женишься, на свадьбу своей суженой и подаришь. Куда какой хороший подарок, богатый!

Зуев промолчал. Ох, Селякин, знал бы он, как неудобны были в ту пору Ивану мысли о всяких там суженых-выюженных...

— Ну, теперь куда? — спросил он, чтобы перевести разговор.

— Не кудахчи, пути не будет, — незлобиво выговорил старик. — А впрочем, домой заворачивать будем. Умаяла меня совсем куница, отдохнуть надо.

По дороге домой Гаркун рассказал историю своего отца.

— Мне тогда шестнадцатый год шел, а отцу моему ровно семьдесят было. Женился он, по нынешним меркам, поздно. Как роди-

телей своих схоронил, одиноко ему лесовать стало, вот тогда и привел на кордон мою будущую матушку. Девушку взял на выбор, молодую, красивую. С охотой пошла, за лесом-то никогда не бедали, даже в самый голод. Ну да это я так, к слову, — неторопливо рассказывал Селякин, размеренно передвигая лыжи. — Я у родителей был последним из четырех сыновей да пятерых девок. И, как последыш, остался с отцом по его делу, остальные все разлетелись. Вот один раз отец пошел так же, как мы теперь, участок обходить. Один пошел, я дома остался, корова должна была телиться, ждали. К вечеру отец не пришел. Мы не очень обеспокоились, зимой дни короткие, и он, бывало, на обходах оставался ночевать на зимовье, была тут избушка у Крамжая. Но и с утра он не появился, тут уж мы обеспокоились. Переждав до полудня, я пошел в лес искать. Вывела меня моя собака. Его кобель нас издали почуял, взвыл, залаял, а моя навстречу ему побежала. Гляжу, отец под сосной сидит, на бок завалился. Лицо у него поцарапано. Это кобель его будил, домой звал. А поодаль куница подстреленная лежит. Запалалила она его. Он ведь как, из последнего духа догнал ее, подстрелил, а вздохнуть-то заново силы уж и не хватило. Помер отец. Вот с тех пор, с шестнадцати лет, я и лесничую. А та куница, выходит, как смертью отцовской была. И я уж было напугался, не по моим годам такая охота...

Через неделю Зуев ехал домой, сдерживая свою вишневую кашку на ста двадцати километрах. Но и этот предел для обледеневшего раскатанного асфальта, как оказалось, был чрезмерным.

В сумке на заднем сиденье лежала обработанная, подготовленная к выделке шкура куницы. Селякину по дружескому обмену Иван оставил пять своих зайцев, двух рыжих лис и трех норок — племени для здешних мест диковинного, недавними родоначальниками которого стали беглецы с пригородной зверофермы.

Потом, когда приятели принесли домой вещи из расплющенной, искореженной «Нивы», все оказалось на месте до уцелевшей магнитолы и динамиков от нее. Все, кроме куницы. Кто-то скажет: не сдержалась рука мародера, добыл горемыка...

Но Зуев знает, Зуев видел. Она просто ушла, словно и не была, нежно ударив хвостом по глазам. Стало быть, жить сроку добавлено.

Семён МИЛОСЕРДОВ



*Снегопад поработал прилежно:
стали белыми степь и река...
Сразу видно: Россия безбрежна,
и извечно она велика.*

*И морозы её не сутулят,
лишь румянит её метель,
и не выстудили, не продули
злые ветры чужих земель.*

Известному тамбовскому поэту Семёну Милосердову (1921-1988) исполнилось бы в этом году 85. Он остался в истории тамбовской литературы не только как глубокий талантливый поэт, автор нескольких замечательных сборников стихов и поэм, но и как Учитель поэтов, создатель литературного объединения «Радуга».

Более подробно о жизни и творчестве Семёна Семёновича читатель узнает в разделе «Юбилеи», а здесь — поэзия Мастера-юбиляра.

*Мы уходим на северо-запад,
и рыдает, и пляшет перрон.
Но гармонь, задохнувшись внезапно,
замерла, и притих батальон.*

*Санитарного поезда скрежет,
весь в бинтах командир у окна...
Кровью, теплом, горельым железом
вдруг в лицо нам дохнула война.*

*Мы не знали ни ран, ни санбата,
смерть гуляла пока в стороне,
и сурово глядели солдаты,
не бывавшие там, на войне.*

*– Разгружаемся! Быстро! Не мешкай!
На носилках героев несли,
их укладывали на тележки,
подавали им костыли.*

*У танкиста поблёскивал орден,
был танкист молодой обожжён...
И застыл караулом почётным
необстрелянный наш батальон.*

*И белело не поле ромашек –
под созвездьями красных крестов
поле гипсовых белых рубашек,
поле белых халатов, бинтов.*

*Заглушая сиреневый запах,
госпитальный знобил холодок...
... Нам пора. Нам на северо-запад.
Раздаётся прощальный гудок.*

ПРЕБЫВАЮ В ТЕНИ

Л. Поляковой

*Мне внушают: поезжай в столицу!
Пробивай! Резину не тяни!
Мол, в Тамбове к славе не пробиться,
так и будешь пребывать в тени.*

*Ну а я люблю теней сплетенье,
в жаркий полдень задремавший плёс.
Тени, как пятнистые олени,
на траве – от золотых берёз.*

*Птичья бескорыстная эстрада
мне была с младенчества сродни.
Разве просит соловей награду,
тоже пребывающий в тени?*

*Может быть, не всем мой голос слышен,
но без усилителя пою.
С каждым годом пребываю ближе
к людям и цветам в родном краю.*

*Опять сквозь белые метели
по январю, по февралю –
лишь только б лыжи звонко пели –
приеду, выдохну: «Люблю».*

*И улыбнусь. И вновь поверю,
что время движется к весне,
что видят белые деревья
себя зелёными во сне.*

*С утра восторженно и древне
поёт разбуженный петух.
Над избами дурманно дремлет
густой черёмуховый дух.*

*Тяжёлым листьям душно в небе,
в парном тумане тополя.
И прорастает буйно хлебом
набухшая теплом земля.*

*На цыпочки встают опята
по вырубкам в лесной глуши.
И в окна сонно, как котята,
слепые тычутся дожди.*

*А в полночь – синих молний росчерк,
и травам шевельнуться лень.
И тихий блеск звезды над роццей
стоит в глазах у деревень.*

*И свет во все концы,
и хлеб во все концы...
И я иду по рубчатому следу.
Весёлые шофёры-удальцы
– Садись! – кричат. – Куда?
– Навстречу лету.*

*В дождях и зорях,
в радужной расцветке,
теплом и новизной оваян путь...
До счастья – как до яблока на ветке –
лишь только стоит руку протянуть.*

СИРЕНЬ

Не засыпает навсегда сирень...
 С зеленотравьем! С пробуждением! С новью!
 Опять, опять, как прошлую весною,
 огнём лиловым пышет майский день!
 Я растворю, как два больших крыла,
 окна больничного тугие створки,
 чтоб ты, любимая, дышала и жила
 теплом берёзы, белизной ствола
 и слушала сорок скороговорки.
 Расплющивая пальцами струю,
 из шланга поливают маттиолы,
 дитя агукает под звуки радиолы
 в своём колёсном крохотном раю.
 Не закрывай, любимая, глаза.
 Неужто ты поднять не в силах веки?
 Растут леса, текут большие реки.
 Прекрасна виноградная лоза.
 Я принесу тебе целебную траву,
 впусти к себе врачующие ветры.
 Зазеленей, любимая, как вербы, –
 покуда ты живёшь – и я живу.
 Я верю, твёрдо верю: близок день –
 завалит в нашем доме подоконник
 и отряхнёт росу в твои ладони
 весною воскрешённая сирень.

КНИГА ВЕЧНОСТИ

*Я стою, как тополь, немо,
прирастая к облакам.
Снова я читаю небо –
строк созвездья – по слогам.*

*Время движется к рассвету...
Вслушиваясь в тишину,
я всю жизнь читаю эту
Книгу Вечности одну.*

*Кто её великий автор?
Чьи сверкают имена?
Вижу почерк космонавта,
звездочёта письма.*

*Не комета ли Галлея
над сиреневым кустом
о прозренья Галилея
пишет огненным хвостом?*

*В бесконечное пространство
улечу и я с мечтой:
в Книге Вечности остаться
хоть бы звёздной запятой.*

ЛИВНИ ОТШУМЕЛИ...

М. Румянцевой

*Ей тесна могильная ограда,
ей бы море, степи, косогор...
Хлещут ливни... Затворять не надо
дверицу, отворённую в простор.*

*Так любила Майя ливни мая!
Никогда не пряталась под зонт,
молниями строчек рассекая
дымный и тревожный горизонт.*

*Ливни отшумели... То ль дождевика
искрилась на лёгком ветерке.
То ль блестела тёплая слезинка
на холодной бронзовой щеке.*

* * *

*...И мы разгадываем тайну
не год, а целые века –
в чём обаянье увяданья
заглохшего березняка,
того багряного сиянья,
той тихой рожицы сквозной,
непостижимого слиянья
сердцебиенья с тишиной?*

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

*Разнотравья медвяный запах.
Безмятежность. Покой. Забытьё.
Отчего же опять внезапно
жалит памяти остриё?*

*Закрываю глаза – на мгновенье
мне покажется: грохот, война,
я взрываю кольцо окруженья,
гимнастёрка обожжена...*

*То ль пробитая дзенькает каска,
то ль звенят на ветру тальники...
А открою глаза, вижу – ряска,
влажный берег, желтеют пески...*

*Благодатного неба стихия.
Небо тронута голубизной...
Окружает меня Россия
разнотравьем и тишиной.*



Александр МАКАРОВ



*Какие у мамы глаза?
Спросите меня, я отвечу:
Они как глубокие речки,
Высокие, как небеса.*

*Всю жизнь они смотрят на нас,
И ноша становится легче.
Они добротой нас лечат,
Которая лучше лекарств.*

*Нет чище, щедрей этих глаз.
Они обмануть не умеют.
Но всё же с годами мелеют,
Они выливаются в нас.*

Александр Макарову в этом году исполняется 60. Юбилей! Родился поэт 17 июля 1946 года на Тамбовщине, сейчас живёт в селе Вишнево Старо-юрьевского района.

Публиковался в областных газетах, журналах «Подъём», «Наш современник», получал премии этих журналов за лучшие публикации года. Автор семи поэтических сборников.

Окончил в своё время Литературный институт им. А. М. Горького.
Член Союза писателей России.

ЗАПОЛЯРЬЕ

*Северный ветер берёт здесь начало,
Здесь его родина, здесь его дом.
Чайка летит над холодным причалом,
Будто платком помахала крылом.*

*Белым оленем мелькнёт в сопках день,
И снег, как цветы, заблестит вдалеке.
Только куда я цветы эти дену,
В руки возьму – они тают в руке.*

*Ветер пургу завивает в колечки.
Белая птица кричит у окна.
Неразговорчивая, у печки
Руки озябшие греет весна.*

ЭХО

*Откуда знакомое эхо
У тёмной текучей воды?
Один засмеялся: «От смеха...»
Другой проворчал: «От беды...»*

*А эхо от памяти было.
А память течёт, как вода.
Я помню, ты очень любила,
Когда приходил я сюда.*

*Я взмахивал удочкой длинной.
Летела под облако снасть.
Хотелось мне в запах полынный,
Раскинувши руки, упасть.*

*Красивые фразы, как рыбы,
Сверкали в сознание моём.
Я думал, мы вместе могли бы,
Я думал, что легче вдвоём.*

*Но было трудней. Мы расстались.
Течением смыло следы.
Одно только эхо осталось
В сознание текучей воды.*

ЛАСКИРЬ

*Здравствуй, липа моя золотая,
Надо мной свои ветви раскинь.
Здравствуй, речка, любовь моя чистая,
Здравствуй, вольная рыба ласкирь.*

*От Макарова деда Василия,
От Фоминишны – бабки моей,
Перешло это слово красивое,
Я не слышал светлей и милей.*

*Дед мой умер, когда я был маленьким,
А за дедом и бабушка вслед.
Но остался дремать на завалинке
В моей памяти ласковый свет.*

*Не осталось от дома ни брёвнышка,
Только рвусь я в родные края.
Я не знаю, что светит здесь – солнышко
Или образ того ласкиря.*

ЗИМНЯЯ ДАЛЬ

*Красногрудые птицы вчера пролетели
И рассыпали свист.
Мы хорошую даль для себя приглядели,
Первопуток тернист.*

*Я, наверно, домой до весны не доеду,
И печали не скрыть.
Светлый короткий день. И весьма надоедливы
Долгий полоза скрип.*

*Ну что же, вот и стали вы господами,
Стали питаться заморскими плодами,
Стали поститься, молиться, верить Богу,
Будто не знали сроду к чёрту дорогу,
Будто в пепел не превращали святыни,
Жулик и проститутка стали святыми.*

*Разъезжаете по всем сторонам света,
И мою Родину называете «эта страна...»,
Которая, впрочем, вас кормила,
Лелеяла, но так и не стала милой.
Потому что в полях звон спелых злаков
Для каждого, кто слышит, не одинаков...*

*Я по росам вешним, мимо поля гречневого,
По тропинке к нашей речке прибегу.
Говорливой речью заколдует речка
И заставит посидеть на берегу.*

*Было мне невесело, было очень грустно,
Очень я печалился, так, как никогда.
Только сел у речки под зелёный кустик,
Вся печаль уходит, как в песок вода.*

*Дышится свободней, думается легче,
Слушаю, как что-то шепчут зелена.
Говорливой речью речка меня лечит,
И тепло своё мне отдаёт земля.*

*Я любил эти снежные змейки и кольца,
Завыванье под каждым кустом.
А теперь ненавижу. Метель, успокойся,
И не радуйся в поле пустом.*

*Сквозь гудящее пламенем белым пространство
Ты к родному меня пропусти,
Чтоб сказать слово доброе, долгое «Здравствуй»
И короткое слово «Прости»...*

*Снегири в саду
накликают холод.
Облака в пруду
мне напоминают город,
где когда-то жил,
пил чайк из блюда.
Но не хватит сил,
чтоб туда вернуться.*

*От расставанья, не от водки
Моя хмелеет голова.
И уплывают, словно лодки,
В туман хорошие слова.*

*Они про многое напоминают
И душу всколыхнут до дна.
И как пустой сосуд наполняют
Тревогой завтрашнего дня.*

*Тоской по травам, по деревьям,
Тоской по маленькой реке,
Что на виду у всей деревни,
Как будто жилка на руке.*

*И я, протягивая руки,
Хочу их сильными сберечь,
Чтоб в тёмном омуте разлуки
Поймать обломки наших встреч.*

ВЬЮГА

Нине Стручковой

Пляшут бесы на Русской равнине.
 Всё живое притихло во мгле.
 А я вспомнил о девочке Нине,
 Что жила на тамбовской земле.
 Как на этой земле у колодца
 Человек ей сказал поутру:
 «Я один, без весеннего солнца,
 Без тебя, моя радость, умру...»
 Это голос любви, голос друга.
 В сердце радость-тревога росла.
 Только русская белая вьюга
 Закружила тебя, унесла.
 Сколько счастья нашла в этой жизни?
 Знаю я, что оно не милей
 Глубоко утонувшей в Отчизне
 Древнерусской деревни твоей.
 У окна в ожидании чуда
 Ты сидишь в эту ночь целый год.
 Я скажу тебе, Нина, оттуда
 Человек к тебе ныне придёт.
 Скажет: «Вьюга на Русской равнине
 Замела все дороги-пути,
 Но тебя отыскал я, и ныне
 Мне дорогу назад не найти».



Марина ГУСЕВА

* * *

*Все труднее уезжать.
Уезжать, как умирать.
Смотрит наглыми глазами
Привокзальных лавок рать.*

*Все труднее целовать.
Целовать, как воровать.
На щеках горит румянец,
И закат ему под стать.*

*Все труднее обижать.
Обижать, как убивать,
А за каждое убийство
На суде ответ держать.*

Марина Гусева родилась в Тамбове. Окончила Воронежский государственный университет и Пензенское художественное училище. Работает преподавателем в Тамбовской детской художественной школе № 1.

Автор трёх поэтических сборников: «Этюды», «Незримых крыл прикосновенье», «Перед рассветом».

Член Союза писателей России с 2003 года.

* * *

*Как апельсин – по глади синей,
В проем вагонного окна
Вплыла огромная луна
И покатила над Россией.*

*Под стук колес, под разговор,
В своей обыденности странный,
Она смотрела иностранкой
Почти всерьез на нас, в упор.*

*Чуть оттенял тревожный свет
То перелески, то овраги,
Так акварелью на бумаге
Художник пишет силуэт.*

*Лишь оставляя там и тут
Поселков огненные зерна.
Жизнь наша так же иллюзорна,
Но четкий задан ей маршрут!*

* * *

*Все ищем какого-то смысла
В обилии громких речей,
Склонилось ветлы коромысло,
Мечтая о сильном плече.*

*Грохочут январские грозы,
Сбивает цветение град,
И светлые рубят березы
Для кольев, костров и оград.*

*В слепом бесновании скачет
Мятущихся дней суета,*

*Хватают шальную удачу
Без радости и без креста,*

*А время сжимается туго,
Как ряска на темном пруду,
Вот-вот потеряем друг друга
Мы в этом бездушном аду.*

*Быть может, в тиши захолустья
Найти неприкаянный кров,
Среди запорошенных грустью
Полей и пустынных дворов,*

*И жить терпеливо и строго,
Чтоб чувства привыкнуть могли
К тому, что уходит дорога
Не вдаль, а во чрево Земли!*

* * *

*Запутался месяц в ветвях у сосны,
И ветром январским исколот,
Покорно ждет утра... А кто-то – весны...
Лучистого счастья осколок
Найти на дороге пытается вдруг,
Холодные льдинки хватает.
Как хочется тихо сказать ему: «Друг,
Они непременно растают.
Бесмысленно к ним относиться всерьез,
И все-таки – надо серьезно.
Ведь это застывшие капельки слез,
И каждая – с отблеском звездным!»*

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

Степенный дуб – сидящий бобыль,
 Застыл в пустыне снежной за околицей,
 А хрупкий месяц, кажется, расколется
 И превратится в тающую пыль.
 Все замерло. Ни вдоха, ни мольбы,
 Сковал мороз малейшее движение.
 Пропали звуки, только погружение
 В немое горе брошенной избы.
 Вот рядом тоже темный силуэт,
 Как вдовый лик в пушистом полушалке,
 И только тень скворечника на палке
 Похожа на тропинку или след,
 Ведущий в вечность или в никуда...
 Да вдалеке, где завтра выйдет солнце,
 Чуть виден свет, а может быть, в оконце
 Живая отражается звезда.

* * *

Мы пришли с одной планеты,
 Уничтоженной враждой,
 И никто не знает, где ты
 Часто бродишь сам с собой,
 И никто не знает, кто ты
 И к чему давно привык.
 Никакие полиглоты
 Не изучат тот язык,
 На котором только двое
 Говорили – ты и я.
 Уничтожена враждою
 Наша общая земля.

* * *

*Нахлобучил холм-старик,
Ради смены облика,
Весь закрученный, парик
Кучевого облака.*

*По воде речной чуть-чуть
Вьется рябь несмелая,
Прилетела отдохнуть
Лилий стая белая.*

*Отрешенны камыши,
Будто нарисованы,
И минуты здесь, в глуши –
Долгие фасолины.*

*Лишь берез безмолвный плач
И колодца стоны
Не дают забыть, что вскачь
Мир летит со склона!*

ВОСПОМИНАНИЕ

*Затевая с вечера тесто,
Мама ночью к нему встает,
Передвинет в теплое место,
И осаживает, и бьет
Потемневшей старинной скалкой –
Эти звуки ловлю во сне.
И совсем мне его не жалко,
И так сладостно спится мне!
А под утро сны легче, выше!
По ступенькам крутым, бегом,
Я взмываю на гребень крыши!
Солнце огненным пирогом*

Чинно катится в руки прямо,
 И его аромат вдохнув,
 Я кричу в упоении: «Мама!»
 И зову, просыпаясь, вслух!
 И она в полуяви зыбкой
 Появляется вдалеке,
 Обнимает меня с улыбкой,
 А ладони ее – в муке!

* * *

Нет победителя
 в любовном поединке,
 И не бывает радостным
 финал –
 Ты был спокоен,
 и глаза, как льдинки,
 А мне хотелось,
 чтобы застонал
 От острой боли!
 Метилась я в тело,
 И потому
 не дрогнула рука.
 Любовь – мертва,
 душа осиротела,
 Разлука –
 не на годы –
 на века!

* * *

*Приоткрылась крохотная почка,
Словно глаз зеленый в полусне.
Незаметно и без проволочки
Исчезает прошлогодний снег.*

*Бьют чечетку резвые капли,
Хороводят бурные ручьи!
Уж грачи недавно прилетели,
Будто у Саврасова – грачи,*

*Белая церквушка за забором,
И берез натруженных стволы,
А за ними – Русь с ее простором,
Уводящим в дальние миры!*

* * *

*Осенний сад торжественен и нем,
Со стужею знаком не понаслышке,
Но словно ослепительные вспышки –
Последнее цветенье хризантем.*

*Они так непосредственно милы,
Как будто не предчувствуют разлуки,
Не видят, что взметнули в небо руки
Уже окаменевшие стволы.*

*Осенний сад. Он к холоду готов,
Ведь это испытанье неизбежно.
А если так, пусть сердце будет нежно,
А дух сосредоточенно суров!*

* * *

*Переливы тенистого сада.
Небеса опрокинулись в пруд.
Живописец Борисов-Мусатов.
Его дамы задумчиво ждут.
На плечах их туманные шали,
Тонко вьется узор кружевной.
Революции им не мешали
Видеть что-то за явью земной.
Не мешали им тяжкие войны,
Настоящее мутной волной
Их не трогает. Так же спокойны,
Словно тайны какой-то одной
Не раскроют глаза с поволокой
Ни сейчас, ни когда-нибудь впредь.
До какого последнего срока
Им на нас доведется смотреть?*

* * *

*Горит свечи огарок, угасая,
Трепещет тени зыбкою грядой,
И серебрится нить дождя косая,
Как в темной челке волосок седой.*

*А мокрых крыши мерцающие спины
Отсвечивают, словно из воды
Всплывают добродушные дельфины,
И между ними плещутся сады.*

*И с жадностью жасмин цветущий дышит,
И кажется, все беды по плечу,
И зная, что над тучами, и выше
Сияет свет, я вновь зажгу свечу!*

* * *

Несутся
ливней диких
табуны.
А между ними
выступает
солнце!
И луч его
на зелени стены,
Как жеребенок
ласковый
пасется!
Он слизывает влагу
не спеша –
Следы копыт
серебряных.
Подковой
Восходит в небо
радуга!
Душа
В предчувствии
какой-то жизни
новой
Стремится к счастью,
свету и добру!
И, кажется,
не может
быть иначе!
Стенает тело:
– Все равно умру!
Но это
ничего уже не значит!

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

*Вечер – странник с холстинной котомкою
Собирает остатки зари.
Облака над заснеженной кромкою,
Как вспорхнувшие вдруг снегири!
Замерла городская окраина,
Сытой Масленицей хмельна,
Только ветер нудит неприкаянный,
Да вина в душе, а луна
Проступает прозрачным пряником,
Будто постное утешение...
По дворам ходит вечер странником,
Тихо просит за всех прощение.*

* * *

*В России зимы многоснежны,
И в этом тоже благодать.
Она сердца пронзает нежно,
Перестрадать, перестрадать –
Все им подсказывает немо:
Оцепеневшая река,
Хрустальной дали диадема,
Рябины тонкая рука
Застыла скорбным силуэтом
И вечным символом живым!
Врачует небо тихим светом
Всех тех, кто бедствует под ним.*

*Сроднимся духом в эти зимы
И будем помнить обо всем.
И дни, что не-пе-ре-но-си-мы,
Перенесем! Перенесем!*



Валерий ХВОРОВ

* * *

*Никогда не гнушайся прошлым.
Ветер стонет в холодном лесу.
Я бывал и желанным, и брошенным,
Трепетал, словно лист на весу.
Ты приводишь примеры бессвязные,
О тоске и потерях зудишь.
Знаешь, люди бывают разные,
Ты ведь тоже кого-нибудь злишь.
Кто не смог, у кого получилось?
Я не стану пытаться и дробить,
Если ты на меня разозлилась,
Значит, сможешь опять полюбить.
Не броди по болотам примеров,
На вершинах старайся искать,
Посмотри, как прощаю я первым,
Научись также первой прощать.*

Валерий Хворов родился в 1957 году в Тамбове. Работает преподавателем технологии в Тамбовском межшкольном учебном комбинате.

Стихи публиковал в газетах, коллективных сборниках, журнале «Подъём». Автор четырёх поэтических сборников.

Член Союза писателей России с 2001 года.

* * *

*Окно открою – гул машинный
Влетает в комнату стрижом.
Визжат раскрученные шины,
Как свиноматки под ножом.*

*Качают бедрами дороги
В глазах зеркального стекла.
И разминают чьи-то ноги
Педали плоского крыла.*

*Газуют юноши и девы
По краю плачущих аллей.
И облетают гроздь гнева
С высоких светлых тополей.*

*Не видят юноши округу,
Лаская взглядом полосу.
И тонкий мятный запах луга
Танцует с пылью на весу.*

* * *

*Свободная и ласковая дева
С глазами цвета трепетного льна.
Не ведая ни жалости, ни гнева,
Была со мною искренне вольна.*

*Творила, что хотела, что желала.
Переплетала чувства и тела.
То легкою голубкою взлетала,
То буйною метелицей мела.*

*Откуда пыл? Откуда ветер страсти?
Откуда милый голос с добротой?
Я увлечен свободой отчасти.
И нет любви спокойной и святой.*

* * *

*В небесах звезда дрожала,
Мне казалось – упадет.
И луна прозрачным жалом
Рассекала тонкий лед.*

*Одиноко и пустынно
В зыбком мареве мечты,
Той звезде, что так невинно
Смотрит в душу с высоты.*

*Оттолкнув ладонь тревоги,
Осень бросилась в бега.
И на крылышках дороги
Разрогались стога.*

*Тишина не беспредельна,
Ветер – вечный пономарь.
И гудит костер метельный,
И звенит ночная хмарь.*

*Белым снегом невесомым
Не сдержать волну тоски,
Но колеблется весомо
Лунный ветер вдоль реки.*

*И загадочно мигая,
Светит в небе лунный круг.
Может, это капля рая
Вот-вот скатится на луг.*

* * *

*Я разбавлю водку соком,
выпью маленький глоток.
Отвернусь от лунных окон,
одинок я, одинок.*

*Ночь холодная и злая,
водка выпита до дна.
И, на пол круга роняя,
светит зеркалом стена.*

*Омут зеркала сияет,
в нем подтаяла луна.
И во мне тревога тает.
Водки много – жизнь одна.*

* * *

*Мы невольники желаний.
И властители причин.
Я устал от покаяний,
Ты – от ветреных мужчин.*

*Кто за счастье нас осудит,
Тот не знал святой воды.
Каждый ветер вьюгу любит,
Что свистит на все лады.*

*Мне сегодня стало легче,
Всем несчастьям назло.
Обними меня покрепче,
Как уключина весло.*

*Обними, и будь что будет –
Сквозняки или жара.
Посмотри, как месяц любит
Нежно речку до утра.*

* * *

*Мужики шкурили бревна
И курили самосад.
Прокудахтал трактор ровно,
Обкутив вишневый сад.
Тракторист взглянул сурово
На людей и топоры.
Бревна толстые для крова
И рассохлись от жары.
Было солнечно и гулко.
По селу гулял июнь.
Пыль томилаась в переулках,
Заметелит, только дунь.
Ветер дунул стружкой росной
И над лугом полетел.
Мужики шкурили сосны,
Каждый искренне потел.
Бревна голые белели,
Словно бабы у пруда.
Мужики на них сидели
С топорами без стыда.*

* * *

*И ждали мы друг друга, и не ждали,
И жили как-то, каждый по себе...
Отчаянно, безропотно страдали
От тупиков в непрожитой судьбе.
Молились убедительно и рьяно,
Когда теряли ниточку добра.
И яростно на крыльышках диванов
С бессонницей боролись до утра.
Сбывалось, что хотелось, и не очень,
Грешили мы и каялись потом,
Когда листву рассеивала осень
Над чьим-то неприкаянным крестом.*

* * *

*Осень звездой не согрета.
Ветер в туманах зачах.
Белого, белого цвета
Снежная шаль на плечах.*

*Время послушать метели,
Стоны их, свисты и вой.
Прожили мы, словно спели,
Жизнь молодую с тобой.*

*Что нам осталось, родная?
Время сердечной тоски.
Песен я новых не знаю,
Чувствам они не близки.*

*В старость не хочется верить,
В грустную песню души.
Воют метели, как звери.
Ты их бранить не спеши.*

* * *

*Утро светлое, не тревожное,
По дороге я тихой иду.
И трава весела придорожная,
И кувшинки милы на пруду.*

*Берега коронованы ивами
И объаты густым камышом,
Оказались такими учтивыми,
Вдохновили мечтать о святом.*

*О России великой, нескованной
Раскаленную цепью идей,
По кусочкам не расфасованной
И не проданной горсткой людей.*

*За бесценнок продать можно пажити
И пруды от капризной нужды.
Только что, господа, вы нам скажете
В дни и ночи взаимной вражды.*

*Сила истины неистребима.
Не продать ее, не разменять.
Будет Родина нами любима,
Будет Бог нас крестом осенять.*

* * *

*Мне бы с радостью не разминуться,
У реки под счастливой звездой.
И, взглянув на себя, улыбнуться
Отраженному светлой водой.
Тень моя никого не тревожит,
Окрыляя отчаянно плоть.
Никакая мечта не поможет
Скорлупу бытия расколоть.
Эхо прошлых, недобрых событий
Оглушает сердечной тоской.
Тучи вольные не замутите
Храм зари, что восстал над рекой!
Но, взглядевшись в рассветные дали
И негаснущий свет на воде,
Понимаю – меня оправдали
Лишь на миг на безгрешном суде.
Миг заветный судьбой не измерить,
Как летящие помыслы ввысь.
Мне бы в радость земную поверить,
Для которой мы все родились.*

* * *

Вновь ворон каркает в саду.
 Залетный, вздорный.
 На горе или на беду,
 Как ангел черный.
 Пророчит птица свысока,
 Честному люду,
 Что жизнь любая коротка
 Всегда и всюду.
 Пугает, каждого вина
 В порочной доле.
 Но сердце бьется у меня,
 По Божьей воле.
 И солнце ясное взошло
 Над всеми нами....
 Как отзовется наше зло,
 Узнаем сами.
 Как отзовется доброта
 В житейской дали?
 Не все заветные места
 Святыми стали.
 И мне придется претерпеть
 Сомнений муки.
 И к небесам любовь воспеть,
 Вздывая руки.
 Ты охолонь, вороний пыл,
 К ветрам взывая.
 Не пустит жизнь мою в распыл
 Душа живая.



Иван ЕЛЕГЕЧЕВ

НА ДНЕ

Современная трагедия

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЧАЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, капитан первого ранга, командир подводной лодки.

ЭММА СТЕПАНОВНА, его жена.

ЧАЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, капитан второго ранга, капитан-наставник, отец командира.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА, его жена.

МАССИ-ПАЯ, их дочь.

ПОСЕЙДОНОВ ИСАИ ИСАЕВИЧ, кавторанг, старпом.

ЛЮДМИЛА, его жена.

КРЕММЕР-НАБАТОВ ТИМОФЕЙ ИЛЬИЧ, капитан первого ранга, начальник штаба дивизии подводных лодок.

ЗИНАИДА ТИХООНОВНА, его жена.

ШАКИРОВ ХАСАН АБДУЛЛОВИЧ, капитан первого ранга, начальник оперативного отдела штаба дивизии подводных лодок.

ЛИЯ, его дочь.

КУРОЧКА ИВАН, матрос.

БАГУЛЬНИК ИННОКЕНТИЙ, мичман.

ЧАПАЙНИЦА АННА, домохозяйка.

АВТОР.

Иван Елегечев родился в 1927 году в Сибири. С 1976 года живёт в Тамбове. Автор многих книг прозы («На Чулым-реке», «Байга», «Мангазея», «Зима», «Таёжники», «Губернатор», «Оккупация» и др.), вышедших в Москве, Воронеже и Тамбове.

Пьеса И. Елегечева «Что есть истина» с успехом шла на сцене Тамбовского областного драматического театра в 1980-е годы.

Член Союза писателей с 1963 года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Скромно обставленная квартира в доме начальствующего состава приморского гарнизона. Фортепиано. На стене парящая в высоте чайка. В рамках нарисованный карандашом корабль — белопарусник. Цветная фотография подводной лодки у причала.
ВЛАДИМИР ЧАЛОВ, ЭММА.

ЧАЛОВ (*сбирая в сумку*). Вот и снова в плаванье — и ты одна.

ЭММА (*стоя у окна*). Дома ты или в море, я всегда одна...

ЧАЛОВ. Побойся Бога, милая. Ты всегда на людях. Ведешь два кружка — рисования и музыкальный. От тебя в восторге твои курсанты. Ванюшка Курочкин, молодой матросик, и мне, и всем уши прожужжал Эммой Степановной. И умна, и добра, и талантами Бог не обидел.

ЭММА. Спасибо.

ЧАЛОВ. Двадцать дней промчатся крылатой ракетой. Однако на сей раз я буду ждать возвращения с особым нетерпеньем.

ЭММА. Не слепая, вижу...

ЧАЛОВ. А мне, признаться, эти возвращения, особенно первые дни, не по нутру. От газетчиков и тележурналистов нет отбоя: беседы, поздравленья, интервью. Подводный флагман. Командир. В тебе, как в фокусе лучи, сошлись все нити.

ЭММА. Не по душе быть флагманом, подай в отставку.

ЧАЛОВ. На сей раз я боюсь припоздать даже на один день.

ЭММА. Понимаю. Билеты...

ЧАЛОВ. Мой любимый, мрачный, студеный север. Полярные сиянья, сполохи, хмарь, туманы, клящий холод и ночь, темная ночь без конца. Один день бархатного сезона на юге Франции в сентябре чего-нибудь да стоит.

ЭММА. Хочешь, Володя, я на прощанье спою тебе любимую песню твоего отца Николай Николаевича. Бывало, я часто певала ему, он слушал и от волнения обмахивался платком.

ЧАЛОВ. К старости он сделался слезливым и сентиментальным.

ДРАМАТУРГИЯ

ЭММА. Он всегда такой. (*Садится к фортепиано, играет и поет.*)

Чайка в море пролетела над седой волной,
Окунулась и вернулась, вьется надо мной.
Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет?..

Закрыв лицо руками, роняет голову на клавиатуру, ее плечи
вздрагивают. Чалов подсаживается к ней, обнимает.

ЧАЛОВ. Что с тобой, Эмма? К чему эти слезы! Не на войну же.

ЭММА (*припав к нему на грудь*). Когда ты в плавании, меня, милый, терзает жалость. И к тебе жалость, и к другим... И Ванюшку Курочку жалко. Понимаешь, солнышко над головой, небо голубое, птицы парят, гудки, или моржи режут во льдах, а вы там во тьме. Я всегда со страхом думаю о тьме. В глубоком космосе, наверное, тоже темно, но не так, как под водой. В небе звезды, а под водой даже лучик света, единственный лучик не прорежет глубину.

ЧАЛОВ. К чему ты об этом, Эмма?

ЭММА. Милый мой Володя, я хочу открыться: далее я не могу терпеть. Пойми, у меня в душе такая же тьма, как на морской глубине.

ЧАЛОВ. Что-то новое... Какая тьма?

ЭММА. Скажи, Володя, ты твердо решил во Францию ехать вместе с нею?

ЧАЛОВ (*не сразу*). Да.

ЭММА. Володя, прости, родной, когда это кончится?

ЧАЛОВ (*лаская жену*). Милая моя Эмма Степановна! Скажи, пожалуйста, чего тебе не хватает? Исполняя мои заказы, тебе привозят завтраки чуть ли не из Парижа. Весь мир... Где ты в последние годы только не побывала! Разве только в краю айсбергов и пингвинов — Антарктиде. Одно твое слово — и ты там. Скажи, ужель за все эти предоставляемые тебе блага я не могу хотя бы неполный месяц в году пожить так, как я хочу?

ЭММА. Пингвины не заменят мужа.

ЧАЛОВ. Послушай, Эмма, когда ты наденешь шубу из черных, как арабская ночь, енисейских соболей, на тебя с завистью смотрит даже жена начальника штаба дивизии. Будь жив Иван Грозный, он давно приказал бы содрать с твоих плеч эту шубу и подарить ее одной из своих любимых жен.

ЭММА. У Царя Ивана Четвертого, насколько мне известно, была

одна венчанная жена.

ЧАЛОВ. Семь или восемь, включая сюда тех, кого он приказал заточить в монастырь.

ЭММА. Ты красивый, толковый, умный. Ты хороший семьянин. Тебя любят дети. Экипажи судов, которыми ты командовал, были от тебя в восторге за твою справедливость, строгость и доброту. Именно такого тебя, мой муж, я и полюбила. Но в последнее время ты ко мне изменился. Ты любишь другую. И я знаю — кого. Она молода и красива. Я не хочу вам мешать. Дай Бог, чтобы этот поход прошел благополучно. Вернешься — нам с тобой надо решать. Впрочем, решать надо мне. Я уеду к маме. Дети, разумеется, останутся со мной.

ЧАЛОВ. Думаю, что до этого дело не дойдет... К чему, скажи, ты затеяла эту бодягу за сорок минут до начала плавания?

ЭММА. Как в пьесе Островского: сердце — не камень.

ЧАЛОВ. Но и мое не из дешевого известняка.

ЭММА. Хуже. Когда ты рядом, от тебя разит заиндевелым льдом. С тобою вместе, не обижайся, я чувствую себя так, как будто меня кинули в темный, наполненный ледяной водой отсек подлодки.

ЧАЛОВ. Вот как! Придешь к причалу?

ЭММА. Зачем спрашиваешь?

ЧАЛОВ. Женщина для меня становится загадкой. Кто знает, что у тебя на уме.

ЭММА. Я не из тех, кто выносит сор из своей избы.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Обычная квартира в доме начсостава. Обстановка скромная до убогости. За столом ЧАЛОВ-СТАРШИЙ, КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА, потом МАССИ-ПАЯ.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Задерживается что-то наша с тобой Масси — и не звонит. Уж все ли благополучно на их метеостанции?

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Бог милостив. На дворе белый день, а в гарнизоне в последнее время вроде все спокойно.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Времени еще достаточно, хотя и в обрез. Подождем.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. С минуты на минуту должна быть. *(Выглядывает в окно.)*

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Столько лет подряд вы с ней нас провожаете. Сначала меня одного, а теперь вдвоем с сыном. Помнишь, Клава, какие у нас были в пятидесятых субмарины. Водоизмещение, что водовозная бочка, копят, дизеля ненадежные. А теперь! Идет, что крейсер гигантский. В толщину, что акула, увеличенная в миллион раз, а скорость хода... Все меняется. Прогресс.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. А в каких гарнизонах мы с тобой только не обитались. И на Балтике, и на Черном, а больше всего вдоль Ледовитого кияна. Морячка я, чистое дело — морячка. А скажу тебе, отец, по откровенности, к морю я так и не привыкла. Не утаюсь, боюсь я моря. Его, если разобраться, никто не разгадал еще. Таинственно. И рыбы, и все животные, что там живут, не разгаданы. И какие-то там рыбы-иглы, и электрические скаты, и восьминоги. Уму непостижимо, сколько лет пришлось господу Богу, создавая этот мир и его обитателей, трудиться, чтобы сказать: ну, хватит, вроде сделал все, что мог. Миллионы, больше.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Что, Клавдея, перед морским походом мне хочешь сказать?

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Что сказать? Надо подумать. *(Пауза.)* Кроме спасибо, отец, мне и сказать-то тебе нечего. И за сына — красавца, Володеньку, он весь видом в меня, и за дочку Масси-Паю. Ей-бо, Коля, живу, не нарадуюсь. Таковую ты мне, муженек, на склоне лет расхорошую дочку подарил! Ежели мне не изменяет память, привез ты ее с Обской Губы, где мореходствовал, как сиротку пяти с половиной годков возраста. А я хоть и из простых крестьянок, но, скажу, не совсем дура набитая, сразу умом своим смикитила, что к чему. Уж шибко она, доложусь я, проказник, на персону твоей милости похожа была. Естественно, как всякая на моем месте, штыками оцетинилась, понесло меня словесным соромом, как из полной бочки. Ты засобирался с уходом в неизвестном направлении, я на попятную. Тут между нами обоюдный мир и понимание объявились, и побочная дочка нашла в нашей с тобой семье хорошее пристанище. А потом меня Бог вразумил, я сердечно воспольбила дитеньша и стала ее считать своею кровною. Так с тех пор и ведется. А таперича, признаюсь я тебе, старый, милей ее и краше для меня никого на свете нету. Сын-от, Володя, женившись, отдалился, а она, голуба душа, со мною рядышком. Одно плохо, про свое замужество не хочет поминать. Скажешь ей: пора бы, дочка, охота, скажешь ей, мне дитяток повнучатить, а у нее один ответ: ни за кого не хочу, одна, говорит, как мамонька кровная, царство

ей небесное, хочу жизнь прожить... Такая Паюшка у меня ласковая, говорунья, приникнет к тебе — у нас так заведено вечерами перед сном — и лопочет, лопочет свое, у меня ижно от счастья дых займет-ся. Вот и говорю, а ты, старый хрыч, внимай: спасибо тебе сердечное за Масси-Паю! Мне, не скрою, ревностно бывает, когда она о матери кровной говорит ласковое, но я свои чувства от дочки скрываю, да и бывают-то они во мне редко. И то думаю: коли человек про матушку свою помнит, значит, он человек хороший.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Кедр крепкая — орех от нее ядреный, а от ядреного ореха подрост мочный к солнцу тянется.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Истинно, отец! Сказывает дочь-то: часто ей матушка кровная, покойная, снится, разговаривает с дочерью. Я в эти суеверья шибко-то не верю, но иной раз и возьмет за загривок сумление: может быть, в самом деле наша с тобой дочь мудрёная.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Сочиняй больше. Просто она умней многих, в том числе, может, и нас с тобой, видит дальше. И книг много читает, и со стариками любит разговаривать — мудростью земной пропитывается. Да и работа у нее хорошая — метеоролог.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. То же самое и я о ней думаю. Мне не так на свете страшно, когда она рядом. Не дай Бог, случись что с тобой в глубине вод, мне легче с нею будет горе перенести, потому что родная душа рядом... Чу, в прихожей скрипнуло, то Масси-Пая... Пойду встрену. *(Выходит.)*

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Те же и МАССИ-ПАЯ.

МАССИ-ПАЯ. Прошу прощения, отец, припоздала. Метеосводки. Шторм надвигается. Непонятные явления: вода на море коловоротом, валы срезает, как пилой, поперек и повдоль. Красиво, но и жутко.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. На глубине шторм не страшен. Как в могиле там, покой и тишина. Держи курс по компасу да внимательней следи за локатором — и ажур. Чайку, может, дочка, вместе с нами изопьешь — в честь нашего похода. *(Пьют чай.)* Может, Паюшка, есть отцу что сказать на прощанье?

МАССИ-ПАЯ. Есть, папа.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Говори.

ДРАМАТУРГИЯ

МАССИ-ПАЯ. Я чувствую, мои слова улетят в пустоту, но я не могу смолчать. Видение... Я с мамой разговаривала.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Что тебе сказала мама?

МАССИ-ПАЯ. С походом переждать надо.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Нельзя, не нашего ума дело.

МАССИ-ПАЯ. Отец, я буду настаивать. Отмени поход! Виденье... Мама, как живая. Спаси, говорит, отца и брата. Не пусти их в море. Пустишь — осиротеешь. И брата, сказала, и отца потеряешь.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Я понимаю, дочь, иным снам нельзя не верить. Было, и у меня сбывались. Только я скажу ради откровенности: заикнись я о походе, меня не послушают. Кто я? Я всего-навсего капитан-наставник. Старик. Меня и в море-то берут ради сына. Прошуся — Володя не хочет меня обижать. Да и то: как остановишь поход, когда собрались. И начальство явилось, и адский котел — этот самый реактор разожгли, тронь рычаг — динамо-машина зазвенит, гребные винты завертятся.

МАССИ-ПАЯ (*закрывает лицо*). Я лишуюсь отца и брата.

ЧАЛОВ-СТАРШИЙ. Будем верить, дочь, в лучшее. (*Целует.*) С суевериями, милая, надо помаленьку расставаться. Время колдунов и прорицателей ушло... Ладно, мне пора. До свиданья. Пошел. Да и вам пора. Опаздывать на митинг супруге капитан-наставника и его дочери не пристало. (*Уходит.*)

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Вижу, душой ты страдаешь, дочка. Угомонись. (*Присаживается рядом, обнимает.*) Полно, я с тобой. Не впервой, чай. Вернутся ко сроку. Не плачь, успокойся. Может, валерьянку накапать? Ишь, разволновалась. Сердчишко-то, как у воробья стучит... То помни: не одни они там. Народу в лодке полно. И начальство с ними. А коли начальство в лодке, то и бояться нечего. Не думай, начальство не проведешь, оно в опасный поход не ходит.

МАССИ-ПАЯ (*у окна*). Прощай, отец!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Те же и АНКА ЧАПАЙНИЦА.

ЧАПАЙНИЦА (*вбегая*). А вы чего медлите? Все царство небесное проспите. Весь гарнизон на берегу. Оркестр играет. Командиров из дивизии ждут. Ваш Володя с Эммой... Скорей, скорей, слушай мою

команду! Что за напасть — слезы. Как на войну. У меня трое уходят: мужик родной, два племянника. Денег куча. Бросай горевать! Пошли! За мной шагом арш! (*Мать и дочь остаются недвижимо.*) А ну вас! Прямо чудные вы какие-то. Ты-то, Клавдия Георгиевна, еще туды-сюды, а суразка-то твоя привозная, ей-бо, как словно малохолдная.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА (*ухватив за шиворот*). Постой-ка, красавица ты моя! А ну, пушай твой скабрзный язык повторит, что ты посмела тут вымолвить?

ЧАПАЙНИЦА. Пусти, старуха! Я сказала и от своих слов не откажусь. Всем ведомо, она у вас незаконная, нагулок, привозная, сураз одним словом. Из-под забора сломанного.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Вот как! Смотрю, низко ты пала, Чапайница. Пушай замараю я руки о такую погань, но иначе я не могу поступить. (*Бьет Чапайницу в лицо.*)

ЧАПАЙНИЦА. Ой-ой, спасите, убивают! (*Вырвавшись, убегает. С улицы доносятся ее вопли.*) Ой-ой, едва я спаслася. Эти командеры бляцкие чуть было меня не прихлопнули. Не на ту напали. Ужо вам. Я уж покажу, как обижать Анку Чапайницу.

МАССИ-ПАЯ. Зачем ты так, мама?

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Пусть эта стерва мне на глаза не попадает, я ее где-нибудь прихлопну за ее мерзкие речи.

МАССИ-ПАЯ. Пережитки прошлого. Суразка... Не нахожу я в этом слове для себя ничего оскорбительного. О человеке не по его происхождению судят, а по делам его. Пусть так, я побочная, но от этого я не становлюсь ни хуже, ни лучше, а отец с матерью оттого, что я побочная, не становятся мне чужими. Родные вы мои, я вас обоих люблю, как себя, даже пуще. Готова даже жизнь за вас... Сейчас вот... Я с удовольствием бы пошла в поход заместо папы.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Спасибо тебе, мое дитятко, на добром слове. Мы ведь тоже от тебя без ума. Особенно я. Я даже жизни для себя без тебя не представляю. Бывает, чуть задержишься на холмах, на своей метеостанции, я сама не своя.

МАССИ-ПАЯ. Работа, мамочка, такая. Срочные сводки к вечеру.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Дома никого, никто не услышит. Скажи, миленькая, почто выход в море нашим подводникам нежелателен? В сам деле тебе во сне какое ни на есть видение было?

МАССИ-ПАЯ. Было, мама, было, вот тебе крест святой. (*Крестится.*) Мою первую маму я как словно наяву увидела. Под кедром стоит, в двух шагах, вот как тебя сейчас, ее вижу. Вверху черный орел, кара-

ДРАМАТУРГИЯ

куш, нашего рода шаманского охранитель, горлом клекочет. На плечах мамы паница из оленьих шкур, а на голове шапка из шкуры бурого медвежонка. Голос ее как наяву слышится. Такое я от нее узнала, такое, что даже язык не поворачивается выговорить.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА (*в волнении*). Говори, доченька, говори, не терзай промедлением мне сердце!

МАССИ-ПАЯ (*волнуясь*). От слова до слова запомнила. Вот. Нижняя струя соленая, кверху бьет вострием кола. Роковая струя — булатной твердью режет, как кинжалом. А нижняя — пиками, пиками... Акула, угребая плавниками, щерится — зубья острые, как клинки воинские. А ей встречь кашалот в стальном панцире. Море бурлит. Со дна тина и ил, песок и камни. Битва. Схватились друг с другом два чудища. Крылатые, хвостатые. Окровавилось море. Одно чудище морское своего супротивника проглотило. Лежит в брюхе чудище, а внутри его люди. Много людей. Говорит мама: поди, дочка, доложишься людям: пойдут в поход — их погибель ждет. Пусть поверят старой Массе-Пае, дочери шамана и вождя Ачигеча!.. Вот что сказала мне мама.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Страшно, дочка, мне от твоих слов.

МАССИ-ПАЯ. Надо идти, мама.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Пойдем, дочка, может, уберезем от погибели подводных пловцов.

МАССИ-ПАЯ. Я надена память от мамы — паницу.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Надень, милая, видно, так надо.

МАССИ-ПАЯ. И шапку из бурого медвежонка я надена на голову. Память от дедушки Ачигеча.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. И шапку воздень, милая, видно, Богу так угодно... Одевайся скорей! И я наряжусь — сейчас выйдем вместе.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Квартира Посейдоновых. Обстановка современная с претензией на вкус и роскошь с провинциальным оттенком. ЛЮДМИЛА возлежит на софе, в руке мобильный телефон, рядом раскрытая книга, которую она читала. Входит ПОСЕЙДОНОВ.

ПОСЕЙДОНОВ. Я помешал?

ЛЮДМИЛА. Нет, Исай, разговор я закончила.

ПОСЕЙДОНОВ (*раскрывая книгу*). О чем это?

ЛЮДМИЛА. «Зуб дракона» — новейшее достижение передовой русской литературы и криминалистики. Очень интересно! Захватывает. За уши не оторвать.

ПОСЕЙДОНОВ. Что в ней такого?

ЛЮДМИЛА. Вырывают из могил мертвецов. Выбивают молотками золотые зубы — в духе времени.

ПОСЕЙДОНОВ. Куда полезней читать советы домохозяйкам.

ЛЮДМИЛА. Ты, я вижу, Исай, ждешь с нетерпением часа, когда я искусство поменяю на кулинарию.

ПОСЕЙДОНОВ. Работа на кухне куда полезней, чем орудовать киркой и лопатой, добывая из земли золотые зубы.

ЛЮДМИЛА. Ты явно не в духе. Наверное, тебе не охота в морской поход. Походатайствуй — и я с удовольствием заменю тебя в подлодке.

ПОСЕЙДОНОВ. Сажусь за рапорт по команде.

ЛЮДМИЛА. Ты не в духе. Какая муха?..

ПОСЕЙДОНОВ. Я зашел сказать, ты по мобильнику говоришь так много и часто, что я не успеваю оплачивать по счетам. Ужель тебе кажется, что с неба мне сыплется манна небесная? Я весь в долгах, как в шелках. Если мне придется внезапно умереть, по мне десятки моих товарищей взвоят от досады.

ЛЮДМИЛА. Тебе не нравятся мои расходы?

ПОСЕЙДОНОВ. Нет-нет, все в порядке, просто я обеспокоен, что не успел перед походом оплатить за телефон. У тебя без меня могут возникнуть проблемы. Чтобы этого не случилось, оставляю тебе на мелкие расходы. *(Кладет в шкафчик купюры.)*

ЛЮДМИЛА. Спасибо!

ПОСЕЙДОНОВ *(присаживаясь)*. Что говорят твои московские друзья?

ЛЮДМИЛА. Ах, если бы не мои московские друзья, в этом диком краю, где ходят сгорбившись, чтобы не коснуться головой ледяного неба, можно было бы умереть от тоски. Вечный шум моря я сравниваю с рыком дикого зверя, требующего очередной жертвы. Убогая примитивная жизнь. Развлечения — телевизор, где бесконечная реклама и больше ничего, дни рождения с возлияниями, однообразными разговорами о делах, вахтах, дежурствах и прочих прелестях корабельной жизни. В библиотеке ни фиги, один «Зуб дракона» да еще книжка о приключениях детей в семнадцатом веке. Господи, кто придумал эти приморские гарнизоны и эти библиотеки с двумя книжка-

ми каких-то никому не известных знаменитостей...

ПОСЕЙДОНОВ. Неужель, Люда, все так плохо в приморском гарнизоне?

ЛЮДМИЛА. Я далека до этой мысли. Жизнь на берегу океана имеет свои приятные стороны. Море, как ни сурово, навевает хорошие мысли и будит мечтания о далекой древности, о Гомеровых героях, Одиссее, например, скитавшемся по воле богов по морскому безлюдью в поисках дороги до родного дома.

ПОСЕЙДОНОВ. Твой монолог о гарнизоне прекрасен, но ты не ответила на вопрос о своих друзьях.

ЛЮДМИЛА. Если тебе так хочется знать о моих друзьях, то послушай. Моим друзьям, Исаюшка, живется вольготно, они обедают в дорогих ресторанах, пьют испанские вина и изволят кушать крокодилово мясо. Кое-кто из них собирается на Канары или куда-нибудь в Испанию, Францию.

ПОСЕЙДОНОВ. После похода мы, может быть, тоже позволим себе такую роскошь.

ЛЮДМИЛА (*присаживаясь к нему на колени*). Улита едет, когда-то будет. Жорик, ты его хорошо знаешь, зовет меня проветриться в Таиланд. Я давно мечтаю о юго-востоке — вьетнамцы, тайцы... Разреши мне съездить туда дней на десять.

ПОСЕЙДОНОВ. Ладно, с Богом. Жорик — хороший парень, в обиду не даст.

ЛЮДМИЛА. Спасибо, милый. Я так тебе благодарна, что мне даже расхотелось ехать. А что? Возьму и не поеду. Сяду на гранитный валун и буду смотреть в море и ждать твоего возвращения. А на устах, знай, будет только твое имя. (*Долгий «упоительный» поцелуй.*)

ПОСЕЙДОНОВ. Ладно, Люда, ладно, в твоих руках я как разогретый в кипятке воск: лепи из меня любую фигурку. Чувствую, что ты своей отлично отрепетованный монолог чем-то хочешь подсластить?

ЛЮДМИЛА. Да. Понимаешь, Исай, я почти разучилась танцевать...

ПОСЕЙДОНОВ. Немудрено. С тех пор, как тебя попросили из ансамбля, прошло четыре года.

ЛЮДМИЛА. Мне нужна балетная практика, постоянный наставник и учитель. Эдуард Кузьмич... Пусть меня накажет Бог, но я не могу за него не заступиться. Он ни в чем перед тобой не виноват. Твоя ревность лишена оснований. Короче, он снова зовет меня к себе в ансамбль.

ПОСЕЙДОНОВ. Что это обозначает?

ЛЮДМИЛА. Мне подолгу придется бывать за границами, проживать в Москве. Я понимаю, для нас с тобой это сложно, но без этого не обойтись. В противном случае я потеряю форму и во мне как в балерине никто не будет нуждаться.

ПОСЕЙДОНОВ. Я понял. Жизнь тебя ничему не научила. Поездка в Бангкок, занятия с Эдиком, художник Серафим, с которым по мобильнику ты изматываешь мою казну — все это меня не касается. Хочу я того или нет, но я вместе с вами четверыми составляю пятую по счету партию. Полный квинтет. Понимаешь, милая, у меня такое ощущение, что вскоре этот квинтет, к твоему неудовольствию, как это ни прискорбно, ляжет плашмя на дно. Все. Прощай. *(Уходит.)*

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Телефонная кабина межгорода. У аппарата с трубкой, приставленной к уху, ВАНЯ КУРОЧКА.

КУРОЧКА. Колпащево, Колпащево? *(Радостно.)* Мама, это ты? Здравствуй! Узнала?.. Как твой артрит? Вот беда! Надо к морю. Выход? Найдем! Заработаю деньги и я отвезу тебя на море. Купим квартиру с садом и верандой и видом на открытое море. Я поступлю рыбаком. У нас будет богатый улов, это обозначает и деньги. Ты будешь загорать на золотом пляже и дожидаться меня с рыбалки. Айна? Она по-прежнему будет жить вместе с нами, и я ее буду прогуливать. Есть она будет, конечно, одну горбушу и, может, кету. Кормить нечем? Как то есть? Я высылаю вам все свое денежное довольствие. Не хватает? Тогда вот что. Надо потерпеть. Сейчас мы уходим в плаванье. Но это ненадолго. Вернусь — что-нибудь придумаю. Отпуск возьму. Рапорт подам. И причину укажу: ты у меня больна и собачонку-спаниеля, Айну, кормить нечем. Уважат. Не могут не уважить. Я занимаю ответственный пост — старшой над местом общественного пользования... Продать? Нет, мама, ты уж, пожалуйста, ее не продавай. Скоро приеду. Я ей подарок привезу — собачий корм. Вкуснятина, говорят. Богачи своих бульдогов прикармливают. Телевизор смотришь, — показывают. С таким аппетитом бульдоги хрюпают. Я всегда смотрю и за Айну радуюсь: привезу ей пакетов семь — вот уж она наестся. Все. Целую. Ждите, скоро увидимся...

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Другая телефонная кабина межгорода. У телефона БАГУЛЬНИК.

БАГУЛЬНИК. Тетка Ага? Это я, Иннокентий. Здравствуй! Как вы там?.. Как Митенька?.. Слава Богу!.. Посылочку получили... Еще пришлю. Сейчас мне некогда. Мы в поход уходим. Вернусь — в отпуск. Я такой знаткий подарочек Митеньке приготовил. Сюрприз. Для него, конечно. А для тебя — откроюсь. Откуда-то с юга, из-за границы, обезьянку привезли. Игрушку. Большую. Нажмешь кнопку — музыка, и обезьянка в пляс пускается. Забавная. Два года... Да, два года, как ее нету. Я тоже ездил в соседний поселок. Поставил свечку... Ты ему, Митеньке, почаще говори о маме. Пусть помнит. Рассказывай о ней. О Ледовитом океане чаще говори. Пусть знает. И мама, говори, и отец с севером неразрывно связаны. Пусть и он готовится. Внушать надо. Читать. И самого наталкивать. Ведь он уже в третьем классе. Большой... Ладно, все. Берегу копейки. До скорой встречи. Ждите. Митеньке скажи, пусть ждет отца. Целую.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Домашний кабинет начальника штаба дивизии Креммер-Набатова.
КРЕММЕР-НАБАТОВ расхаживает по кабинету, ЗИНАИДА
ТИХОНОВНА за столиком чуть в сторонке за пишмашинкой. Она
печатает под диктовку мужа. Сейчас отдых, отвлеченный разговор.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Я не люблю философствовать, Зина. Судьба, Бог... Эти категории для меня неподступны. Я не оголтелый атеист, но и не верующий. В церковь стараюсь ходить пореже, хотя, подчиняясь моде, этого делать не следовало бы. Вон вице-адмирал Бессонов каждое воскресенье в Божьем храме. Стоит впереди на ковре. Бьет поклоны. Устанут ножки — архиерей за белы ручки ведет его за царские врата — отдохнуть в алтаре, хотя мне известно, туда вход посторонним, как в реакторный отсек подлодки, строго воспрещен. Радеет Богу Бессонов и своего добьется. К Новому году жди контр-адмирала.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Кто тебе, дорогой, мешает последовать примеру вице-адмирала Бессонова?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Я хоть и грешен перед людьми и перед Богом, но уголья совести в ямках моей души все-таки тлеют.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. А ты, Тимофей Ильич, на эти тлеющие угольки полей из кружки водицы — погаснут.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Не могу.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Чего же ты хочешь?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Остаться при своем мнении. Во всяком случае совесть будет чиста.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Может быть, пояснишь?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Мы думаем о Боге, о Христе, говорим о Матери Пресвятой Богородице и тэ дэ. Но ведь двое последних, в существовании земной жизни которых никто не сомневается, были заядлые, так сказать, пацифисты. Не убий! А я, заглядывая в рот архиерею, думаю между делом о своей субмарине, туго начиненной оружием, которое может одним залпом накрыть всю Европу. Как тут увязать одно с другим?

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. У тебя есть недостаток: ты залезаешь в такие дебри, откуда даже обитатель тайги — медведь — не выберется.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Что же мне делать, по-твоему?

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Смотреть на вещи просто. Думать, как все, жить, как все.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Воровать, как все.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Надо любить жизнь и брать от нее все, что можно.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Я не задумывался об этом. Однако чего это мы все обо мне да обо мне. Ты скажи о себе: во что ты, дорогая, веришь?

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Я верю в свой уживчивый характер. От моей уживчивости наше с тобой благополучие и счастье.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Интересно!

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Да, твое быстрое продвижение по службе зависело от моего ума и поведения. Я всегда одевалась скромно. Не дай Бог нарядиться лучше жены вице-адмирала или, тем паче, контр-адмирала. Я всегда старалась искренне восхититься умом, вкусом жены твоего старшего начальника. Об ее муже говорю одно хорошее, хвалю и восхищаюсь. Этот подводный поход, насколько мне известно, считается небезопасным. То, что ты в него отправлен, не могу не признаться, муженек, мой прокол. Я расхохоталась над глупым сло-

ДРАМАТУРГИЯ

вом такого-то, даже фамилию его в домашней беседе опасаясь произнести, и вот результат: командир дивизии ушел в отпуск, а ты от дивизии идешь в поход.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Тут ты, миленькая, завралась. Я сам хотел в этот поход. Он давно готовится. Мне надоело ходить в первом ранге.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Пусть будет так: я ошиблась. Умолкаю. Но давай закончим начатое: жить, ни во что не веря, нельзя.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Согласен. Однако стыдно признаваться, но я тоже верующий... Я верю, для тебя это, конечно, неожиданно. Я верю... в крысу.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. В кого, в кого?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. В крысака Менелая. Не делай удивленных глаз. Я беру его с собой в плаванье не для забавы. Менелай — надежный прорицатель. В случае опасности он непременно даст об этом знать. Так крысы устроены. С тонущего корабля или с судна, которому грозит опасность, они, известно, бегут первые.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Я слышала об этом. Но твой крысак тебя не спасет.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Спасенье утопающего — дело рук утопающего. Зато я заранее узнаю о том, что меня ждет.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Будем думать, что в этом подводном ходе Менелая не понадобится его талант.

Телефонный звонок.

КРЕММЕР-НАБАТОВ (*в трубку*). Да... Я готов. Через четверть часа. Мне остается допечатать небольшой кусочек доклада. (*Жене.*) Поспешим. У причала ждут.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Чета КРЕММЕР-НАБАТОВЫХ у крыльца своего дома-особняка.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Все куда-то торопимся. Как на пожар. Даже перед отъездом не посидели.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Посидим. (*Садятся на ступеньку крыльца.*) Да, Зина, я забыл клетку с Менелаем.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Я — сейчас... (*Уходит и возвращается, держа в руках клетку с крысаком.*) Вот твой Менелай.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. А-а, друг, здорово. Я чуть было тебя не забыл. Без тебя, браток, мне неуютно в море. Помнишь, у Шпицбергена?.. Локатор никакого знака не подал, а ты заволновался, забегал в клетке, как угорелый. Я приказал сделать маневр — ускользнули, не то улеглись бы на дно. А там, в глубине, все творится без свидетелей. Кто — кого. (*К жене.*) Как пойдем по улице, ты уж постарайся ступать солидно. Как-никак завтрашняя адмиральша.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Не учи, знаю... И новый мундир пошит, и деньги на пир горой отложены, остается за малым: пройти девять тысяч миль под водой и вернуться домой благополучно.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Атомный двигатель — не дизель, не подведет.

Встают. Уходят по улице.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Квартира Шакировых. У входных дверей ШАКИРОВ, ЛИЯ.

ШАКИРОВ. Мне пора. Останешься, дочь, за хозяйку четырех домов. Один здесь, на севере, казенный. Другой — свой, в Москве, третий, напоминаю, на Кипре, четвертый — на юге Франции, к сожалению, недостроенный. Муж — прораб твой оказался несостоятельным, пришлось прогнать, так что на время похода все ложится на твои плечи. Ты — баба боевая, прошла огни и воды, и, не в обиду, медные трубы — управисься. Тем более нанятые люди двух заграничных строек — надежные, хотя, сама понимаешь, за ними нужен пригляд. Грек на Кипре верующий, православный, чужого не возьмет, а вот твой собеседник во Франции — служитель Аллаха, этот, я думаю, способен на все. Будем надеяться, однако, на лучшее. Полагаю, мой поход надолго не затянется. Не успеешь встретиться со своим Аллахом, как и я прибуду — помогать достраивать виллу.

ЛИЯ. Не волнуйся, отец, все будет нормально. И православный на Кипре будет под надежным надзором, и служитель Аллаха во Франции. Тебе надо понять одно: я работаю не по найму.

ШАКИРОВ. Что ж, оставайся с Христом и Магометом. Пророки

разные, но Бог един.

ЛИЯ. Проводить?

ШАКИРОВ. Не надо! Ты же знаешь, я не люблю телячьих нежностей. Да, забыл. Навести мать в больницу, пусть выздоравливает. Няньке оставь денег. Скажешь, я не успел.

ЛИЯ. Исполню все, как есть, отец.

ШАКИРОВ. Последнее слово: раз доверься, тыщу раз проверь. Все, до свиданья. *(Уходит.)*

ЛИЯ *(одна)*. Не понимаю, чего он не доверяет моему Аллаху. Может, боится, что, пока ходит в свой поход, я выйду за него замуж. Идея хорошая, не мешает подумать...

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Контрольно-пропускной пункт. Дежурят КУРОЧКА, БАГУЛЬНИК.

БАГУЛЬНИК. Эта вахта нам с тобой, Иван, совсем некстати, будто наряд вне очереди. Работы в отсеке невпроворот, да и с личными вещами надо разобраться, что взять, что оставить, а тут стой, как дурак, да одергивай каждого: кому лъзя, кому нельзя. *(Проходят офицеры, мичманы, матросы.)* Стой, документы!

МИЧМАН. Какие документы. Мы с тобой в лицо друг друга знаем. В одном поселке...

КУРОЧКА. Пропусти, Иннокентий. Я их знаю. С соседней субмарины.

БАГУЛЬНИК. Проходи! *(К Курочке.)* А ты, Иван, не мешай. Я — старшой. Порядочек, как в танковых войсках.

КУРОЧКА. Какой там порядочек! Всюду одно и то же.

БАГУЛЬНИК. Митинг собирается...

КУРОЧКА. Такое разведут! И с моря, и с Дона. А кончится одним: «Прощание славянки» сыграют — и на подлодку.

БАГУЛЬНИК. Положено. Чтоб, значит, сердце у баб пощипало.

КУРОЧКА. Между прочим, Кеша, наши с тобой персоны старпомом в особый список внесены. Речь толкать будем.

БАГУЛЬНИК. Это можно. Люблю. Жаль, комсомола нет, был бы я комсоргом. Ни вахт тебе, ни нарядов, сиди в кабинете и принимай взносы.

КУРОЧКА. Ты, видать, с партийной работой знаком. А мне, галь-

юнных дел мастеру, о чем говорить?.. Стоп! Документы!.. Проходи! Я что тебе, Кеша, хочу сказать. Мой дед, Селиверст Семиверстыч, как с войны пришел, любил сказывать. Говорит, как, бывалочи, наступленья, так митинг проводят или актив, или собрание, или конференцию. Наговорятся вдоволь — и в атаку. А в атаке ты пан или пропал. Пуля, она, знаешь, дура. Ей все едино. Оратор ты или на галерке сидел, молчал в тряпочку.

БАГУЛЬНИК. Справедливость!

КУРОЧКА. А ты, смотрю, шибко подкованный.

БАГУЛЬНИК. А ты что думал?

КУРОЧКА. Брошюр, наверно, перечитал кучу.

БАГУЛЬНИК. И брошюр, и книг — много куч. Я даже до «Капитала» добрался. Мировая книга — не баран чихал. Советую освоить, сразу новорусским сделаешься. Прибавочная стоимость — это тебе почище, чем яблоко Ньютона. Ну а ты что читал?

КУРОЧКА. Кроме романа «Муму» Гончарова, я ничего не читал. Да еще личной инструкции моряка. Я эту брошюрку у сердца ношу. Чуть время — изучаю, чтоб, значит, узнать, как спастись.

БАГУЛЬНИК. Ты меньше всего должен о себе думать — о подлодке.

КУРОЧКА. Сразу видно, что ты в инструкции ни бум-бум. О подводной лодке?.. Ты сначала о себе подумай. Уцелей. А если захлебнулся и не дышишь, то на кой хрен, прости за выражение, ты подлодке нужен?

БАГУЛЬНИК. Правильно! Отсюда толк один: зря ты, Ваня, меня дурачишь. Я тебя раскусил: ты человек надежный, с тобой не только в поднебесной высоте, но и на дне морском не пропадешь.

КУРОЧКА. Это точно.

БАГУЛЬНИК. Я с теткой Агой говорил по телефону. Подарочком для сына, он у меня еще маленький, похвалился. Такой подарок, такой подарок!

КУРОЧКА. Покажи (*Рассматривает*). Обезьянка. И что она?

БАГУЛЬНИК. Заведешь — пляшет под музыку.

КУРОЧКА. Подари ее мне!

БАГУЛЬНИК. А тебе зачем. Ты что, отец?

КУРОЧКА. Для собачки. Айной звать.

БАГУЛЬНИК. Нет, не подарю.

КУРОЧКА. Тогда продай. Будет смотреть Айна и выть от жалости. Уступи, сто долларов, которых у меня нету, не пожалею.

ДРАМАТУРГИЯ

БАГУЛЬНИК. Все равно не продам.

КУРОЧКА. Да пойми, утятница она. Спаниель. Ума палата.

БАГУЛЬНИК. И не проси.

КУРОЧКА. Жила!

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Те же и КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА с МАССИ-ПАЕЙ. Последняя одета в доху из оленьей шкуры. На голове шапка из шкуры бурого медвежонка.

БАГУЛЬНИК. Стоп, что за маскарад?

КУРОЧКА. Кеша, осади осла! Что, не видишь, это супруга капитан-наставника Николай Николаича Чалова, а это ихняя дочь Масси-Пая Николаевна. Я у них бывал в гостях, они меня чаем с карамелью угощали.

БАГУЛЬНИК. Я старшой. Не велено посторонних.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Какая же я, сынок, посторонняя? Я самая что ни на есть здешняя, своя.

БАГУЛЬНИК. А маскарад зачем?

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Масси-Пая перед вашими флотскими для увеселения номер отколоть хочет.

БАГУЛЬНИК. А-а, артисты? Тогда проходи.

Клавдия Георгиевна и Масси-Пая проходят.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Проводы. На трибуне из свежих досок военачальники: ЧАЛОВ-МЛАДШИЙ, ЧАЛОВ-СТАРШИЙ, КРЕММЕР-НАБАТОВ, ШАКИРОВ, ПОСЕЙДОНОВ. Справа духовой оркестр. Слева участники митинга, провожающие: матросы, мичманы, гражданские: ЛИЯ, ЗИНАИДА ТИХОНОВНА, ЭММА, АННА ЧАПАЙНИЦА и др.

Шум, говор большой толпы.

Первая группа провожающих: ЛЮДМИЛА, ЛИЯ, ЗИНАИДА ТИХОНОВНА.

ЛЮДМИЛА (*громким шепотом*). Посмотрите, на командирше-то, на Эммочке-то платье с иголки, модное. Слышно, Чалый в Париж

гонял вместе со своей пассией, привез, чтоб жену задобрить.

ЛИЯ. Платье как платье. Мы и получше, бывает, носим. С целью тайной конспирации отец запрещает в гарнизоне наряжаться, а не то я примадонной бы на берегу океана была.

ЛЮДМИЛА. Откровенно, мне завидно птицам, и рыбам, и зверям всяким: без платья обходятся. Люди-то хуже зверей и птиц. Наряжаются. А все с одной целью, чтоб перед другими выпендриться.

ЛИЯ. Люди на то и люди, чтоб красоту выставлять.

ЛЮДМИЛА. Если она есть.

ЛИЯ. Ты в чей огород камнем метишься. Не в мой ли? Так я на это ответу такими словами: сама на себя посмотри.

ЛЮДМИЛА. Мне до твоей красоты дела нету, хотя люди при встрече с тобой отворачиваются в сторону. Тебе никакое платье не поможет.

ЛИЯ. Зато у меня их много. А у тебя поклонников пруд пруди, а порядочный фартук тебе и не снится.

ЛЮДМИЛА. Чем чужие фартуки считать, ты лучше своим дворцам за границей наладь ревизию. Не то придет времечко, придется тебе со своими виллами расстаться навсегда. По винтику, по кирпичику...

ЛИЯ. Революций в ближайшее тысячелетие у проклятого капитализма не предвидится. А если ты про заварушку какую-нибудь, так у оных проклятых стража надежная, не то, что у нас.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Хватит, девки, языки чесать. Все равно вы тесто из одной квашни, вам ли враждовать! Платья!.. Платья — дрянь, тряпки, материал для утильсырья. Вон моему мужу, Набатову, за то, что он на подлодке командира дивизии подменил, адмирала дают, я и то молчу. А они: тряпки, тряпки...

ЛЮДМИЛА. Адмиральский мундир оно, конечно, хорошо, только ты-то, Зинаида, тут причем? Надень его на тебя, ты будешь как словно корова с седлом.

ЛИЯ. Еще хуже: верблюд трехгорбый.

ЗИНАИДА ТИХОНОВНА. Ничего, девки, мне и того довольно, что на банкете каком-нибудь вы передо мною в три погибели согнетесь.

Фыркнув, Людмила с Лией отходят в сторону.

Вторая группа провожающих: КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА, МАССИ-ПАЯ.

ДРАМАТУРГИЯ

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Не раздумала, дочка?

МАССИ-ПАЯ. Выскажусь, кровная мама велит.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Смелая ты у меня. А я, как зайчиха, трусоватая. Мне и пискнуть-то при таком громадном скопе не посметь. Сама понимаешь: наше дело бабское — кухня да стирка. А они, мужики-то, тем часом всем миром завладели. И морское дно подобрали к рукам. От Шпицбергена до Новой Земли кладбище такое, что ни в сказке не скажешь, ни пером не опишешь. Сколько кораблей-то улеглось на вечный упокой!

МАССИ-ПАЯ. Война была. С запада караваны шли...

Третья группа: матросы, в их кругу Анка ЧАПАЙНИЦА.

ПЕРВЫЙ МАТРОС. Слышь, Анка, ты скажи мне, что это за аборигенка такая из воркутинской тайги в лохматой дохе? Лето, а она в оленьей, кажись, дохе преет, как клушка на гнезде.

ВТОРОЙ МАТРОС. Я так и эдак к ней приглядываюсь, как к клоуну в цирке, а все равно догадливости не достает, чтоб определение сделать. Может, нганасанка какая ни на есть с полуострова Таймыр? Тебе, может, что про нее известно?

ЧАПАЙНИЦА. Я все знаю, что деется в гарнизоне.

ВТОРОЙ МАТРОС. Тогда говори, не тяни за пищевод!

ЧАПАЙНИЦА. Она — такая. Она, ежели захотит, вмиг в себя тебя, дурака, влюбит.

ПЕРВЫЙ МАТРОС. Вот хорошо-то как! А то что за жизнь без горячей любви. В походе ты пан или пропал, а при любви тебе хоть на дне лежа, будет о ком думать.

ЧАПАЙНИЦА. В брюхе у кита, там тебе про любовь позабыть придется. Был со мной такой случай, едва откачали.

ПЕРВЫЙ МАТРОС. И все-таки, что скажешь ты про эту дикую?

ЧАПАЙНИЦА. То и скажу: колдовка. Она что хошь на наши головы напустит. Что цунами, что еще какой-нибудь тайфун, а не то подводный коловорот. Вот тогда и чихай в глубине.

ВТОРОЙ МАТРОС. А не врешь, Чапайница, с тебя станется. Не зря про вас с Чапаем анекдоты ходят.

ЧАПАЙНИЦА. Не вру, бля буду. *(Крестится)*

На трибуне ЧАЛОВ-МЛАДШИЙ, ЧАЛОВ-СТАРШИЙ, ПОСЕЙДОНОВ, ШАКИРОВ и другие.

КРЕММЕР-НАБАТОВ (*капитану подлодки*). Владимир Николаич, пора начинать.

ЧАЛОВ-МЛАДШИЙ. Митинг, посвященный историческому походу нашего атомохода, считается открытым. Слово предоставляется начальнику штаба дивизии капитану первого ранга товарищу Креммер-Набатову.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Я буду краток. Значение нашего похода трудно переоценить. Пусть смотрят наши супротивники, мы не одичали, мы не отстали, мы не заблудились. Пусть видят, курс наш прямой и правильный. Вершины счастья по-прежнему сияют впереди — нам есть к чему стремиться. Эти вершины покрыты позолотой и украшены драгоценными камнями. Чтобы бандиты не содрали с наших куполов украшения, мы и ходим при полном боевом в подобные походы. Дружеское рукопожатие нашего многомиллионного народа и двухмиллиардного китайского зиждется не на пустой почве. Итак, путь открыт. Мы идем показать всему миру, на что мы способны. Ура!

Клики: «Ура! Ура! Ура!»
Оркестр играет бравурную мелодию.

ЧАЛОВ-МЛАДШИЙ. Слово предоставляется матросу Ивану Курочке.

КУРОЧКА. У сердца я ношу бумажный наказ. В нем сказано, что делать мне при случае аварии или того хуже. Денно-ночно я читаю наказ. Измусолилась бумага, а строчки стерлись. Иду к начальству: замените наказ. А мне в ответ: бумаги нету. Как так? Мне нужен наказ, а бумаги нету. Почто нет бумаги? Я слепой и глухой без наказа. Я не могу без наказа.

ЧАЛОВ-МЛАДШИЙ. Регламент!..

КУРОЧКА. Мне наказ нужен, а не регламент. (*Сходит с трибуны.*)

ЧАЛОВ-МЛАДШИЙ. По ходатайству капитан-наставника Николай Николаича слово предоставляется сотруднику местной метеостанции Масси-Пае.

МАССИ-ПАЯ (*с трибуны взволнованно, сбивчиво*). От солнца жарко. Бамбук растет толстый. Хороша трость, хороша дубина. Взмахнешь — свистит. Размахнешься вкруговую — на морс шторм. Ой-ой, не маши дубиной, человек! Слаб ты, недружен, пьяница. Вор. Зря машешь. Себе на голову. На море шторм подымается. Волны бурлят,

ДРАМАТУРГИЯ

пенятся. Коловоротом вода. Рыбы ходят хищные. Скот извивается. Искрят щупальца. Бойся! Не ходи в море. Подожди. Пусть улягутся в свои норы хищники. Не задирай кашалотов — загрызут, утопят.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Чалов, прекратить безобразия! Что за новогоднее шоу!

ЧАЛОВ-МЛАДШИЙ. Оркестр!

Оркестр играет марш «Прощание славянки». За спиной стоящих на трибуне, чеканя шаг, проходят подводники. Стучит барабан.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сцена состоит из трех составных частей.

Верхняя — изумительной голубизны августовское небо с круглыми облаками и выючимися в воздухе птицами.

Средняя часть — это глубина морской воды, темно-зеленая, вверху светлая, ниже-ниже все темнее и темнее, переходящая в черноту сажи.

Нижнее пространство — черное, непроницаемое для глаза. Это — донное пространство. Первая сцена почти вся должна быть проиграна в темноте, при небесной голубизне, при зелени морской воды и плавающих в ней рыб, в основном крупного размера — сказочного кволли-козара, сури-козара, кашалота, акул и проч.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

В левом углу нижней части сцены за крохотным столиком примостился растерянный в новой для него обстановке АВТОР. Он торопливо пишет, составляя строки, абзацы, из которых рождаются живые сцены. Он работает много и упорно. Он торопится, как Бальзак, которому остается мало жить. Он то и дело швыряет исписанные листы на пол. Пишмашинка его старая, дребезжит со звоном и, кажется, способна подчиняться лишь своему хозяину. В первозданной тишине рождается звук. Приставив к уху козырьком ладонь, автор вслушивается в тишину: что это? Может, волк, может, лев, может, рысь задрала обезьяну, поймав ее на дереве, и она исходит в безнадежном крике?

ГОЛОС (*приглушенно, невнятно*). Ау-ау, отзовися? Люди!

Вселенная будто вымерла. Ответа нету.
Слепящая снизу тьма. Оглушительная повсюду тишина...

ГОЛОС. Эй, отзовися? Может быть, есть кто тут? Или, может, я один уцелел от тротилового эквивалента? (*Плачущим тоном.*) Пусто... Давит... Будто жернов... В висках стучит — бьют молотом. В голове гул, будто горы обвалились. Но я пока живой. Я — человек. Я не могу обойтись без себе подобных.

Молчит пустое пространство.

ГОЛОС. Ну, отзовись же, отзовись. Я надорвал грудь: есть ли тут кто-нибудь живой?

ОТВЕТНЫЙ ГОЛОС. Аз есмь!

ГОЛОС. А ты кто такой? Старославянин или, может, новорусский прощельга?

ОТВЕТНЫЙ ГОЛОС. Я Кешка Багульник, механик, чином мичман. А ты кто?

ГОЛОС. Я Ванька Курочка, гальюнных дел мастер. Рядовой матрос, статью мне еще не пришили. Твой друг.

БАГУЛЬНИК. Отлично. Нашего полку прибыло. Мы с тобой, кажется, в лодке... на дне. Давай кричать, может быть, кто и отзовется.

КУРОЧКА, БАГУЛЬНИК (*вместе*). Эй, зараза-вселенная, отзовись! Чего молчишь?

ГОЛОС. Чего вы тут надрываете пуп, как московские бирючи семнадцатого века? И без надрывов все слышно. Акустика.

БАГУЛЬНИК. А ты кто будешь?

ГОЛОС. Не будешь, а есть. Я начальник штаба дивизии подводных лодок Креммер-Набатов, Тимофей Ильич, капитан первого ранга. В боевых учениях я заглавный.

КУРОЧКА. Кешка, нам с тобой как утопленникам повезло. Таперитко мы не пропадем. С начальством дело пойдет повеселей. Оно непременно найдет выход. Скоро сто лет — ищет. Еще один поворот — и нить Ариадны приведет к тупику. Бля буду! Товарищ капитан первого ранга, Тимофей Ильич, какой будет с вашей стороны на всю вселенную первый приказ?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Слушай! Нам необходимо срочно связаться с командиром подводной лодки и узнать из первых рук, что с нами стряслось? Почему мы оказались на дне? Или нас подорвали запад-

ные негодяи, или сработал внутренний враг. Может, мы наскочили на гранитный монолит или небесный камень-болид, что упал с неба, преградив нам дорогу? Спросить от моего имени, что он думает делать в создавшейся обстановке.

КУРОЧКА. Есть узнать все, как есть. Разрешите идти?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Стоп, ни с места! По пути загляните на камбуз, может, что сыщется из пищи. У меня с собой крысак-прорицатель, Менелай, я о нем проявляю заботу. Кто знает, от него, может, наше спасение.

КУРОЧКА. Есть сыскать еду для спасителя! Пошли, Кеша!

БАГУЛЬНИК. Идти-то идти, но куда и как? Тьма такая, что вырвут тебе кинжалом глаз, и ты не узнаешь, кто это сделал.

КУРОЧКА. Этой кромешной тьме, товарищ капитан первого ранга, позавидует сам сатана. У него там, в аду, хоть от сковородок тепло, а здесь на дне от воды по грудь холодрыг — зуб на зуб не попадает, а от соленой воды разъедает кости.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Претензия законная, но почему на субмарине нет света?

БАГУЛЬНИК. Атомный реактор заглушен и закупорен. Динамомашинка не крутит магнитные линии. Ток не вырабатывается. Оттого на подлодке нет света.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. А аккумуляторы?

КУРОЧКА. Аккумуляторы старые. Сели. Они еще от Ноя, когда он в своем безопасном ковчеге ходил лет пятьдесят подряд по морям и окиянам вокруг нашего круглого шарика. Их чуть тряхнуло тротиловым эквивалентом, они и рассыпались, как словно необоженные горшки из мягкой глины. А серная кислота пролилась в трюмные глыбы.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. А новые? Помню, для похода закупились новые. Где новые аккумуляторы?

КУРОЧКА. Новые аккумуляторы, товарищ капитан первого ранга, обращены в церковное вино — кагор, когда на нашу лодку изволил приезжать со святой молитвой сам архиерей владыка. Я как гальюнный мастер пострадал больше всех. Во-первых, мне не досталось ни капли, во-вторых, у меня от швабры на ладонях образовались кровавые мозоли.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. А кто виноват в этом? Ведь кто-то должен быть в конце концов виноват. Или мы, как всегда, обойдемся без оных?

БАГУЛЬНИК. Виноват Пушкин.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Подать сюда Пушкина!

БАГУЛЬНИК. Пушкин погиб.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. А заместитель? Командир не должен быть без заместителя. Кто замещает ответственного за электричество Пушкина?

Пауза. Молчание.

КУРОЧКА. Чует мое сердце, это вон тот, который пишет. *(Показывает.)*

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Эй, мичман Пушкин! Ответь мне, почему на подлодке нет света? Немедленно подать аварийный свет! Без света во тьме мои подчиненные не могут исполнять мои приказы.

АВТОР *(негромко)*. Да, эти несчастные актеры морского театра без света обойтись не могут. Собственно, какой спектакль может быть без освещения?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Какой, черт бы тебя побрал, спектакль? Нам не до театра. Мы стоим по грудь в воде. От ледяной стужи у нас, как у голодных волков, чакуют зубы. Нашел время для шуток. Вишь, вода прибывает.

АВТОР *(негромко)*. Я все вижу. Всем им суждено одно... Мне жаль режиссера: где он найдет новых актеров. Да если и сыщутся охотники, кто согласится играть в ледяной воде на дне моря.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Это — сумасшедший, как все писатели! Слышь, писака, свет давай, иначе я тебя пришибу или отдам на съедение акулам, тем, что над нами.

АВТОР. Обстановка на дне трагедийная. Но получится ли из нее классическая, в духе Софокла, трагедия, не уверен. Ладно, будь что будет. Придется им дать свет. *(Включает рубильник.)*

Вспыхивает свет.

КРЕММЕР-НАБАТОВ *(к подчиненным)*. Выполняйте приказ!

КУРОЧКА, БАГУЛЬНИК *(вместе)*. Есть выполнять приказ! *(Уходят.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

АВТОР в углу, пишет. КРЕММЕР-НАБАТОВ по грудь в воде, держит

над головой клетку с Менелаем. ШАКИРОВ висит на кронштейне.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Это ты, Шакиров?

ШАКИРОВ. Так точно. Кавторанг Шакиров, Хасан Абдуллович, заместитель начальника оперативного отдела дивизии подводных лодок.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Ловко ты, Хасан Абдуллович, устроился! Вижу, ты, кажется, даже сухой, как в палящей от зноя степи.

ШАКИРОВ. Только здесь, находясь в подвешенном состоянии, я уяснил для себя философский вопрос о том, что человеческий желудок есть тот же атомный реактор, который излучает тепло, необходимое для превращения его в энергию движения. От тепла моего желудка мундир на мне просох, и мне сравнительно тепло и комфортно.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. А мне, представь себе, кавторанг Шакиров, далеко не тепло и не комфортно. Стоя по грудь в воде, я промок до мозгов. От холода у меня даже кости ссохлись, а из суставов испарилась жидкость. Ты бы пустил меня, Хасан Абдуллович, на свою печку, я немножко обогрелся бы и высох, в противном случае я простужусь и получу если не мигрень, то непременно воспаление легких. Сил нет терпеть такую ледяную пытку.

ШАКИРОВ. Не могу, Набатов, не могу. Рад бы пустить, да, знаешь, своя рубашка... Да и тесновато. Да и боязно — кронштейн, на котором я подвис, вдруг сломается, и мы, к взаимному неудовольствию, очутимся в воде. Зачем страдать двоим, когда можно обойтись одной жертвой.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Вон ты какой!..

ШАКИРОВ. Политработа меня взрастила, а оперативный отдел, который я возглавляю, довершил мое воспитание.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Ты циник и демагог.

ШАКИРОВ. Хоть как ругайте меня, но высоту я не уступлю никому. Мне она досталась недаром. Сидя в ледяной купели, я сушил мозги, как обрести спасение. И нашел выход. Я догадался. Прибывающая через пробоину вода в лодку вытесняет воздух, и он скапливается в закрытых помещениях пузырем. Благодаря собственному уму я в кромешной тьме отыскал такой пузырь и теперь дышу остатками его кислорода. По праву я хозяин положения. Если нам суждено погибнуть, то я скончаюсь последним.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Странно слышать такие слова от подчиненного. Как закончим поход, в чем я ничуть не сомневаюсь, и вернемся

на базу, меня непременно представят к вице-адмиралу, тогда, не думаю, Шакиров, что тебе сделается комфортно.

ШАКИРОВ. Твое адмиральство, Набатов, — как бы остроумнее выразиться? — сгорело без дымного выхлопа. Мы лежим на дне, а что будет с нами дальше, даже старпом Посейдон и его хозяин морей тезка не знают. О воинских званиях и продвижении по службе на сей момент надо позабыть.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Что из того следует?

ШАКИРОВ. Каждый спасается, как может. Истина. Я сюда никого не пущу, кроме твоего прорицателя Менелая, на которого я питаю слабую надежду, может быть, спасет.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. И на том спасибо. *(Передает ему клетку с крысой.)*

Пауза.

ШАКИРОВ. О чем ты, Набатов, думаешь?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Мысли замерзающего во льду передать почти невозможно. Но больше — о тепле. О Канарах, где мне благодаря царящему беспорядку на вышке довелось побывать не однажды... О Бразилии, куда мы мотали с женой три раза на знаменитый карнавал. О Бангкоке, низкорослых тайцах, с коими мы общались, и тэ дэ, и тэ пэ.

ШАКИРОВ. Что, сладко вспомнить?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Нет, Шакиров, горько! Ей-богу! Лежа на дне моря, не хочу лицемерить, как лицемерил последние два десятилетия. Если, Шакиров, толково разобраться, это мы с тобой пустили на дно такое прекрасное сооружение человеческого ума и таланта, как наша подлодка. Мы разворовали армию и флот. Мы пропили, пролюбили, проездили по заграничным курортам дармовым, конечно, способом и новейшие вооружения, и стратегию, и тактику, и многое другое. Мы вплотную подобралась к самой душе народа — я имею в виду душу рядового солдата-матроса, мы готовы и его разложить, чтобы сделать ни на что не пригодным, но тут нам мешает стена. Нет, не Китайская стена, а Русская, стена души народной, она нам с тобой не по зубам. Душа народа вечна, здорова, нетленна.

ШАКИРОВ. Слова, слова... Доведись тебе спастись из этого ледяного заточения, ты ведь, ей-ей, снова примешься все за то же, чем был занят последние годы.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. В этом и моя, и твоя трагедия. Трагедия, может быть, всей нации, которая, увы, повторяется в столетиях. Еще передовые умы начала семнадцатого века признавали: чиновники погубили русскую землю. Кто знает, может, с той знаменитой смуты, сопровождаемой войнами и иностранной интервенцией, и продолжается трагедийное действо на сцене России. Трагедия, Шакиров, не в том, что подлодка беспомощная лежит на дне, а в том, что наши с тобой, как и множество других людей, души погрязли в донной тине и иле. Не субмарину надо спасать, а искать способ, как очистить от грязи наши души.

ШАКИРОВ. Надуманная философия.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Я спорить с тобой, Шакиров, не собираюсь: время на то нам не отпущено. Скажи, что ты про себя сейчас мыслишь?

ШАКИРОВ. Да все о том же, что ты осуждаешь. Затянул я за границей, за казенный счет конечно, грандиозное строительство, а тут этот подводный поход. Пришлось дела оставить на дочку. А она, мягко говоря, блудница Вавилонская. Боюсь, как бы не пошло все прахом.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. И, лежа на дне моря, к какому ты приходишь выводу?

ШАКИРОВ. Шкурная мыслишка: спастись бы не мешало!..

КРЕММЕР-НАБАТОВ. А если это невозможно?

ШАКИРОВ. Тогда у меня оставлены про запас соображения: Экслинаст, который заявил, что все суета сует, наверное, тыщу раз прав.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Тогда вот тебе моя рука: пожми ее, совсем закоченелую. У меня пальцы не гнутся... (*Рукопожатие.*) Путь заграничных строек, дарового обогащения за счет военного или какого другого ведомства — путь гибельный.

ШАКИРОВ. А путь беззаветной службы?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Тут хоть можно на что-то надеяться, ждать.

ШАКИРОВ. Вот и дождались... Дурак я, дурак. Мне предлагали отпуск, а я на богатый заработок польстился.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Не надо паниковать. Еще, может, обойдется. Наверное, весь флот поднят на ноги. В Москву, конечно, доложились. Путин рвет и мечет. Все средства в ход пустят. Водолазов-глубоководников нагонят со всего света. Какие-нибудь понтоны придумают...

ШАКИРОВ. Воздушный пузырь, который нас подпитывает, не бесконечен. Душновато. Чувствуется недостаток кислорода. У твоего

Менелая учащенное дыхание. Тахикардия. Не дал бы дуба великий прорицатель.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Гонцы наши что-то долго не возвращаются.

ШАКИРОВ. Если не заблудятся в кромешной тьме, то придут.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Те же, КУРОЧКА, БАГУЛЬНИК, ПОСЕЙДОНОВ.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Ну что, друзья?

ШАКИРОВ. Какие вести?

КУРОЧКА. Порядочек!

БАГУЛЬНИК. Задание выполнено от и до. С трудом, преодолевая тьму шахтных забоев, добрались до рубки. Нашли в ней по пояс в воде товарища Посейдонова Исай Исаича. Вот он перед вами собственной персоной. Жив-здрав и даже слегка, кажется, навеселе. Да и мы с Ванькой тоже. Имеет он возможность сам отчитаться перед вашим величием.

ПОСЕЙДОНОВ. Разрешите доложить?

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Ты нас, старпом, угости поначалу. А то совсем невтерпеж. Кости инеем обросли.

ПОСЕЙДОНОВ. Угостить угощу. Но сначала доложусь по форме, как того требует воинский устав.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Что командир?

ПОСЕЙДОНОВ. Капитан первого ранга Чалов Владимир Николаич, исполняя свой служебный долг, погиб на посту героем. А отец его — капитан-наставник Николай Николаич — тоже. Вечная им память и царство небесное.

Пауза.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Как это было?

ПОСЕЙДОНОВ. Как взорваться первому тротиловому эквиваленту, Владимир Николаич, не дожидаясь никого, бросился к атомному реактору, чтобы заглушить. Мы с Николай Николаичем последовали за ним. Ни маски на нем, ни защитной одежды. Все сам сполнял голыми руками, с открытым лицом, дорожа каждой долей секунды. Как

заглушил — выговорил: спасена Россия! И без сознания. Мы понесли его наверх. Тут последовал второй взрыв. Николай Николаича ударило об острый выступ, он тут же скончался. Положил я отца с сыном рядом в рубке. Тут вода стала прибывать. Знать, брешь такая, что никакой заплаткой ее не зачинишь. Что это: наше разгильдяйство, умысел врага — непонятно. Одно мне ясно: не зря вешала дочь капитан-наставника Масси-Пая с трибуны митинга. *(Пауза.)* А теперь за упокой души отца и сына. Пусть лодка им будет братской могилой...

КУРОЧКА *(Шакирову)*. Эй, ты там, на крыке. Ты что, полулежа собираешься творить поминки по погибшим?

ШАКИРОВ. Я обсох, пригрелся. А у вас зябко. А потом я спасаю от гибели прорицателя Менелая.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Оставь его. Пусть он пребывает там в обществе с крысой.

КУРОЧКА. Нет, я это дело так не оставлю. *(Гневно.)* Он любимого нами командира путем помянуть не хочет. Кому говорят: слезай! Иначе я нарушу устав и сдерну тебя с кронштейна, как с руки перчатку. *(Шакиров слезает и передает клетку с крысой Креммер-Набатову.)* Становись рядом, в круг! Как придет твой черед, так ты из баклажки испей каплю.

Первым пьет из баклажки Посейдонов. Баклажка обходит по кругу.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Царство небесное, как говорится, Володе. Я знаю его давно. В один день в училище поступали. Романтик. Неплохо разбирался в новейшей истории. Любимым деятелем, перед которым, как он говорил, не стыдно преклониться, был Александр Колчак.

ШАКИРОВ. Между этими людьми не может быть ничего общего. Колчак наш враг, а Владимир Чалов, командир атомохода, флагман — воспитанник... так скажу: воспитанник нашей системы.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Оставь демагогию, Шакиров. Ужель ты не осознал, что мы на дне. Кривляться нечего. Чалов, член партии, тогда капэээс, любил Колчака и преклонялся перед ним. Колчак — полярный исследователь. Отважный воин. В русско-японской войне отличен, как герой. За его храбрость японцы ему, военнопленному, разрешили носить личное оружие. На Балтике даже немцы ему за подвиги со своих кораблей кричали виват. Но главное, он был полярный исследователь, его именем назван остров Колчак... Это был человек

чести. О Колчаке от Володи я узнал многое, говорить сейчас неуместно...

БАГУЛЬНИК. Можно подумать, что один Колчак воспитал капитана Чалова.

ПОСЕЙДОНОВ. Правильно! Что нам Колчак!

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Я понимаю, что вы мне внушаете, не ту, мол, не партийную, линию гнет начальник штаба. А я знаю, что говорю. Александр Колчак вдохновил Володю на подвиг. А воспитал его отец Николай Николаич. Они вместе, когда Володя был совсем молодым, морской коч близ Архангельска построили и на нем до Мангазеи добрались морским ходом. К морскому делу его отец родной приохотил. Так получилось: и погибли они на боевом посту в одну минуту.

ПОСЕЙДОНОВ. За Николай Николаича, наставника. *(Фляжка обходит по второму кругу.)* Чалов-отец был моим другом. Разница в возрасте ничего не значила. Этот человек — загадка. Он знал с одним шаманом с Оби. Когда Николай Николаич обновлял первую на севере дизельную лодку, он брал с собой подо льдом пробираться советником шамана. И что? Удачно прошел под громадами льда. Вот какой был человек Николай Николаич. От доброго семени взросло могучее дерево. Таких, наверно, долго на нашей земле не будет.

КУРОЧКА. Позвольте мне!

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Говори, матрос.

КУРОЧКА. Наш старпом Исай Исаич усомнился. А я не верю. Будут у нас герои. На весь мир. Что на весь мир — на всю вселенную. Мы на Антимир слетаем, посмотрим, как там люди наоборот живут. У нас героев не сеют, не жнут, они сами... Я про себя. Думаете, я по случаю на подлодку пришел. Как бы не так! Я к подводному ходу всю жизнь готовился. Я Пржевальского и Миклуху-Маклая штудировал. Я Арсеньева назубок выучил. Я на Бедуху, что на Алтае, забирался. Я лодку построил из черемухи и бересты и хотел на ней всю Евразию обогнуть.

БАГУЛЬНИК. И что тебе, Ванечка, помешало?

КУРОЧКА. Скала конгломератная. На пути... Лодка в щепки, меня плотогоны выручили.

БАГУЛЬНИК. А ты, Ванечка, герой.

КУРОЧКА. А то что? Я и говорю: вместо погибших другие на их место станут. По-иному быть не может. Бабы у нас плодовые, таких нарожают!..

КРЕММЕР-НАБАТОВ (*Посейдонову*). Ты с этого паренька, Исай Исаич, глаз не спускай. Свою специальность он перерос. Из него отличный офицер выйдет. (*Куручке.*) Согласен в военно-морское?

КУРОЧКА. А почто нет! Айну на поводок — и хоть в Питер, хоть куда в иное место.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Решено и подписано. Вернемся из похода, я сам твое дело под контроль возьму.

ПОСЕЙДОНОВ. Ох, зябко мне, так зябко мне, ребята, что хребтину напополам раскалывает. Не выдержать мне, видно, такое испытание. Помру. И почту за счастье.

КУРОЧКА. Что ты, что ты, товарищ Посейдонов, Исай Исаич, старпом ты наш любимый. Как же мы без тебя? А я? Как я без старпома? Ты меня, Исай Исаич, в хвост и в гриву, да ведь за дело. То за бутылки, то за дерьмо: за всеми не углядишь, — а все одно я тебя любил, потому что ты справедливый. Не умирай! Скажи сам себе: живой останусь — и останешься. Вот я. Ни в какую смерть не верю. Тьфу мне смерть. Ее — нету, ей-бо! Пока живой — живу. А умру — все равно живой. Мой дух героический в ком-нибудь останется и дальше в века уйдет. Это я для тебя, Багульник, знай, не один ты такой умный.

ПОСЕЙДОНОВ. Нет, Ванечка, не уговаривай, пришел мой карачун. Ты не думай, я не печалюсь: не по чему. Я ведь детдомовский. У меня родни ни души. И жена. Что мне жена? Я субмарину любил. Я жить без нее не мог. Сутками... По этой причине и жена-то квинтетом обзавелась. Бывало, просит: пойдём туда, пойдём сюда, в кино или в театр в Большой сходим, а я никуда. На кого я свою Субмариночку оставлю! А теперь ее, считай, нету, — к чему жить?!

КУРОЧКА. Может быть, Исаюшка, ты в чем-то и прав. Я по себе знаю: без Айны, собачонки, мне не житье, но все равно о жизни надо думать. А смерть, это успеется... Уж кому-кому, но тебе я помереть не дам. Все меры... Свою матушку я всю жизнь лечу. У нее застарелый ревматизм, а я ее на ноги поднял. Теперь быстрее моей Айны бегаёт... А тебе, начальник, погреться надо. Передрог ты во льду. Окоченел. Четыре градуса жары — не шутейное дело. Даже слона с ног свалит. Даже у кашалота воспаление легких получится. Ему что, кашалоту — он на свободе резвится. В чужие подлодки носом... А ты в ледяном отсеке посиди, по-другому запоешь... Полезай-ка, старпом, на этот кронштейн, на нем хитрец Шакиров отсиживался, пока я его отгудыва не турнул. Непременно согреешься. (*Помогает старпому.*) Вот так. Ремнем привяжись — и уснешь. И силы вместе со сном при-

хлынут. Против всех болезней одно лекарство — сон. Ревматизм-артрит — болезнь, что насморк. Спи больше — спасешься. Бегать станешь, тебя ни один борзой кобель не догонит. Тебе отдохнуть надо. Закрой глазки — спи.

ШАКИРОВ. Плох наш старпом. Не поможет ему мой кронштейн. Холодная вода, конечно, вредна, только не в ней одной причина. Кислород. Если бы нам не дышать, то и углекислота не выделялась бы. Но ведь мы покада живые. Вдох-выдох — углекислоте прибавление. Легкие, что меха в кузне. Ишь, бледный какой, того и гляди.

КУРОЧКА. Не крамай, ворон. Он еще нас с тобой переживет. Как дуб. При распределении в училище я к нему на подлодку попрошусь. Он к тому времени командиром сделается. Заявлюсь: товарищ капитан первого ранга, капитан-лейтенант Иван Курочка для дальнейшего прохождения службы прибыл. Он мне руку протянет: ну, на какую должность, Иван, нацелился?.. *(Прислушивается.)* Кажись, уснул. Дышит ровно. Подремлет — и буди здоров.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Да и нам, ребяташки, слегка так подремать не помешает. Для восстановления сил. Да и кислород в пузыре съэкономится.

ШАКИРОВ. Подремать — это, конечно, полезно. Но как? Ведь на ледяную подушку голову не преклонишь.

БАГУЛЬНИК. Я догадался, ребята, как нам поспать. Стоя. Давайте обнимем друг друга за плечи, в кругу-то теплее будет.

Становятся в круг, по-братски обняв друг друга за плечи. Затихают. В отсеке глубокая тишина. Ниоткуда ни звука. И свет меркнет. То догадливый Пушкин убавил фитиль своей волшебной лампы.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

В глубине сцены, обнявшись, стоя в ледяной воде, дремлют в полусне моряки. На левой стороне авансцены на ворохе разбросанных в беспорядке черновиков стоит недвижимо АВТОР. Приставив ладонь к уху, вслушивается во тьму. Откуда-то издали, из замутненного пространства просачивается напев колыбельной песни. Напев едва слышен. Автор нетерпеливо схватывает со стола старый портативный приемник, ищет волну.

АВТОР. Э-э, черт, что за техника, ничего не слышно. Да погромче

ДРАМАТУРГИЯ

же, погромче! Это, кажется, колыбельная Лермонтова. Она так нужна! Всем. И тем, кто на юге, и здесь — северянам. *(В раздражении стучит кулаком по приемнику, звук усиливается.)* Ага, пронял!..

...Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.
Но отец твой старый воин,
Закален в бою.
Спи, малютка, будь спокоен.
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.
Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько слез тогда украдкой
Я в ту ночь пролью!
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

В полутемноте мелодию обрывает вскрик.

КУРОЧКА *(истерично)*. Обидно! Обидно мне! Это — «Колыбельная» Лермонтова... Меня не станет... Она останется... Обидно! Я хотел подольше. Почто так рано? *(Всхлипывает.)* И колыбельная останется... И Шубертова «Серенада» — все останется. А меня не будет. Скажите, почто? Я не наслушался. Меня еще никто, кроме мамы, не целовал...

БАГУЛЬНИК. Успокойся, Ваня. Ну... Мы не погибнем, мы будем жить. У нас с тобой еще все впереди. Надо надеяться и верить.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да готовься в бой опасный,
Помни мать свою.
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю...

СЦЕНА ПЯТАЯ

АВТОР. Кто говорит о моем народе: плохой! Кто говорит о моем народе: пьяница! Кто говорит о моем народе: самоед! Кто подло шутит, что сосед рад беде соседа? Корова в поле издохла, объевшись клевера, — кто говорит, что соседка радуется и пляшет по поводу чужой беды? Кто говорит, что мой народ завистник? Кто говорит, что мой народ не умеет постоять за себя? Кто говорит, что мой народ раб? Кто говорит, что мой народ на войне берет скопом, а не умом и уменьем?

Не верьте!

Не верьте лжецам и завистникам! Наш народ — добрый и участливый. Наш народ незлобив и не завистлив. Наш народ трудолюбив. Не хуже японцев. Он способен работать до изнеможения, был бы толк, была бы польза!..

Беда моего народа в том, что он смешлив. Но смеется он больше над самим собой, но других просмеивать он не склонен. Наша беда — мы не ладим с начальством. А почто? По то, что оно безначально. Исстари, со времен Рюрика. «Я мудрый из мудрых!» — говорит начальство. Мы верим и ждем, и, как всегда, утопаем! Не в реке, так в болоте. Не в озере, так в море!

О народ мой русский, творец и создатель! Доколь ты будешь жить умом твоих самозванных Рюриков? Зачем тебе Вавилонская башня? На земле уже была одна. Разрушилась. Время ее поглотило.

Перестань воздвигать башню!

Она тебе ни к чему. Не гордость нации ты воздвигаешь, а рупор

ДРАМАТУРГИЯ

лжи и клеветы и обмана. Брось! Прекрати стройку! Бог предупредил тебя пожаром. Не послушаешь — сам испольхаешь в огне!

Мирный, доверчивый, простодушный! — к чему тебе размахивать, пусть понарошку, бамбуковой дубинкой?! Зачем посылать в глубину и атом, и водород, и, может, что еще похуже?

О народ мой, стань на тропу мира, справедливости, правды! Пойдешь ты — потянутся за тобой другие.

Зови к добру! К Богу! Другого пути для нас нету!

Другой путь — путь гибели, путь зла и насилия — омут!

Из него не выбраться никому!

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Тишину отсека разрушает человеческий стон и падение с высоты чего-то тяжелого. Вспыхивает свет. Среди дремлющих подводников смятение.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Упал! Вы слышали?

БАГУЛЬНИК. Посейдонов сорвался...

КУРОЧКА. Товарищ старпом, Исай Исаич, не умирай! *(Поддерживает тонущего на плаву.)* Тебе — нельзя. Мы остаемся без командира. Я же собрался служить у тебя, когда ты сделаешься командиром своей подлодки.

БАГУЛЬНИК. Он скончался.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Это точно. Не дышит. Сейчас он пойдет ко дну. Он будет рядом с нами, только в самом низу.

КУРОЧКА. Как же так? Минуту назад живой, и вдруг его уже нет. А мертвый — это уже не человек, а что-то другое.

БАГУЛЬНИК. Останки.

КУРОЧКА. Он погружается в воду.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Не мешай ему утонуть. Никто не должен мешать покойному обрести покой.

КУРОЧКА. Я не мешаю. Я только отстегну у него с пояса баклажку.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Исай был человек исполнительный и чес-

тный. Это был щепетильный человек. Интеллигентный. Он любил одну женщину. Ее звали Субмариной. В обществе с нею он проводил дни и ночи. А еще он любил море. И знал его. Его знаниям животного мира глубин позавидовал бы любой ученый этого профиля. Он знал людей. Он умел подобрать к каждому ключик. Несмотря на сравнительно молодой возраст, он был, можно сказать, отцом всего экипажа. К нему шли за советом. Он радовался чужим радостям. Он оплакивал чужое горе. Он разбирался в морской стратегии и тактике. Посейдонов — будущее русского флота. Вот почему не жаловало его начальство. По сравнению с Исаем я был вонючим дерьмом. Не мне, черт подери, быть начальником штаба дивизии, а ему, Исаю Исаевичу, знатоку, эрудиту, однолюбу. Оттого-то, может, и дела-то у нас шли бы получше, не вздымали бы мы на берегах Средиземноморья роскошные виллы, не прожирали бы мы, не пропивали бы мы в лучших ресторанах Европы ни запчастей, ни новейшие технологии. И взрывов не было бы. И мы сейчас уверенно резали бы глубины Атлантики вместо того, чтобы лежать на дне близ родных берегов.

Сверху доносится глухой стук.

КУРОЧКА (*радостно*). Слышите, стучат! К нам идет спасение. Сейчас откроют люк и вызволят нас на волю.

БАГУЛЬНИК. Похоже, что это так.

КРЕММЕР-НАБАТОВ. Может быть, что это и так, но для нас слишком поздно. Запаса кислорода в воздушном пузыре, которым мы дышим, едва ли хватит на полчаса. А сколько дней потребуется водолазу, чтобы нас найти, об этом никому не известно. Простите, ребята, но я, хоть и оптимист по натуре, не верю, чтобы мы обрели спасение. Тем более, что прорицатель Менелай, тезка царю Менелая, убитому подлым Эгисфом, отдал концы.

КУРОЧКА. Что нам твой крысиный царь Менелай? Как нам ни трудно, мы одолеем эту крепость!

КРЕММЕР-НАБАТОВ (*косно*). У меня задеревенел от холода язык. Мне нечем дышать. Я чувствую, мой пульс заглохнет, как лишенный бензина мотор. Прощайте!

БАГУЛЬНИК. Умер. Не стало начальника штаба. Мы на него перенадеялись, а он оказался слабым и наперед нас дал дуба.

КУРОЧКА. Помянем добрым словом и его. Вечно в разъездах, но все равно он был хороший командир.

БАГУЛЬНИК. Осталось там в баклажке?

КУРОЧКА. Ни капли.

БАГУЛЬНИК. Тогда насухую. Прощайте, товарищ начальник штаба. Мы на тебя не в обиде. Но и ты на нас не обижайся, что тебе, большому начальнику, придется, видно, лежать вместе с нами, простыми моряками, в одной братской могиле.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

ШАКИРОВ, КУРОЧКА, БАГУЛЬНИК.

ШАКИРОВ. Не пришло ли время, ребята, нам сделать, выполняя корабельный устав, переключку?

КУРОЧКА. Ты старший по званию тут, решай сам.

БАГУЛЬНИК. Не надо никаких переключек! Что, не видишь, остались мы втроем.

ШАКИРОВ. Супротив не скажешь: слово истинное. Ни больше ни меньше, трое.

КУРОЧКА. Может, укажешь, как нам обрести спасение?

ШАКИРОВ. Нет, ребята, такого пути я не укажу, потому что сам не вижу. Но чувствую, что должен я стукнуть коньками, ибо такое страдание в ледяных оковах не по моей натуре.

БАГУЛЬНИК. Раньше того, чем придет конец, ты все равно не умрешь.

ШАКИРОВ. Правильно. Поэтому я хочу накануне сделать официальное заявление. Можно?

БАГУЛЬНИК. Делай, как знаешь.

КУРОЧКА. Интересно, что заявит перед личным составом подводной лодки начальник оперативного отдела дивизии. Говори скорей, иначе не досчитаешься еще процентов сорок личного состава.

БАГУЛЬНИК. А то и сам с копылков...

ШАКИРОВ. Поспешу, ребята. Я сначала про своего деда. Богатый был. Работящий. В тридцатом его раскурочили как кулака и все у него отобрали до нитки. А самого на лесоповал. Там его лесиной чуть не убило. Чудом уцелел, перевели его на легкую работешку — сучки жечь. А потом ему, калеке, каким-то образом удалось со ссылки сбежать и даже позже семью оттуда вызволить. Тут он сыну своему, моему, стало, отцу, наказ сделал. Говорит, как вырастешь, так ты этой власти,

которая нас так обидела, отомсти. Как, сам не знаю, но постарайся. С худыми людьми не связывайся, сам по себе действуй. Отец обещал исполнить наказ отца — и исполнил. Работая на приисковом складе, он так беспощадно воровал, что лет за двадцать в тайге, в тайниках, поди, сотни тысяч метров всяких материалов наворовал и распрятал. И габардин, и ситец, и сукно, и постельное белье, и ношебную одежду, и обувь, и головные уборы. Потихоньку торговал награбленным — жил припеваючи, золотишко прикупал, драгоценные камни и жемчужины... Сам на войну не ходил и меня отстоял, направив по индентанству, где я, следуя примеру отца, тем же макаром принялся обогащаться... Позже, ребяташки, я сообразил: мой исподвольный грабеж — это мелочевка. Познакомился с военными, сам воздел погоны — тут дела пошли повеселее. Белье и одежда, награбленные моими предками, моль съела. Со шмутками я решил не связываться, стал хапать по большому счету. И танки переправлял за границу, и самолетами подторговывал — денег, валюты куры не клюют. Короче говоря, иссволочился я вместе с товарищами единомышленниками донельзя. Грабим, воруем, хапаем, а нам все мало: аппетит приходит, сами понимаете, во время еды. Так и дальше, наверное, продолжалось бы, если бы не этот несчастный поход... Понимаю, на дне лежу, не подняться, а каюсь ли в содеянном? Нет, ребяташки, ни капельки во мне раскаяния. Мне в генах, видно, мстительная злоба от предков передалась. Грабил — так надо. Поведись со дна морского встать живым, я тем же занялся бы. Не подумайте, хлопцы, что от жадности у меня такая аномалия в душе получилась. Ей-богу, жадность тут ни при чем. Идеиные соображения, хапаньем да грабежом я мстил за то великое унижение, которое мои предки от этой власти испытали. Я все сказал. А сейчас, поскольку мне от холода невмоготу, я погружусь с головой в воду — и буль-буль, как, будь она неладна, «Галина-бланка».

Тонет.

БАГУЛЬНИК. Капут ему. Ничего другого не выговоришь.

КУРОЧКА. А этот, в углу-то, слышит ли наши голоса.

БАГУЛЬНИК. Не глухой, поди.

КУРОЧКА. Ну, тогда запишет и людям передаст: пусть знают, разные люди были на нашей подлюдке.

БАГУЛЬНИК. Точно, Ваня. Мы с тобой тоже не одинаковые.

КУРОЧКА. Скажи, Кеша, плохой он аль сам на себя наговариват?

ДРАМАТУРГИЯ

БАГУЛЬНИК. Он, кажется, с ума спятил. Сам на себя наговаривает... Шакиров был хороший моряк. Подлодкой командовал. Орденами пожалован. При Брежневе и Горбачеве его лодка курсировала где надо, в самых опасных местах. Что касается хапанья, так кто ныне в этом не грешен. Не хапнешь — просмеют, презирать начнут. Да и вышка им будет недовольна. Ишь, скажут, какой белоручка.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

БАГУЛЬНИК, КУРОЧКА.

КУРОЧКА. Душновато мне. Будто кто хлорофос в целлофановый мешок взбрызнул и насильно мне на голову надел. Чую, в легких пузыри вздулись. Сердце дает тормоз.

БАГУЛЬНИК. Терпи, Ваня. У меня у самого в висках будто два молотобойца: стучат и стучат.

КУРОЧКА. Скажи, Кеша, тебе, поди, не охота отбрасывать копыта?

БАГУЛЬНИК. Вопрос неправильный. Ты спроси, Ванюша: о чем ты жалеешь, Иннокентий?

КУРОЧКА. Ладно, спрошу. О чем ты жалеешь, уходя на тот свет, Иннокентий?

БАГУЛЬНИК. Я об одном, Ванечка, жалею, что не успел переслать сыну игрушку.

Подымает над головой игрушку — музыка играет, обезьянка — пляшет. Багульник медленно уходит с головой под воду. Вот одна рука над водой — обезьянка на ладони человека отплясывает трепака.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

КУРОЧКА один.

КУРОЧКА. Таперитко, кажись, и моя очередь. Один. На всю лодку, может быть, один. Али, может, акромья меня кто остается в живых. Не узнать. Военная тайна. Я и лодка. Я и вселенная. Я и рыбы. Акулы рядом. Кашалоты. Восьминоги обвили лодку щупальцами. А выше

воздух. Небо. Что сейчас: день, ночь? Незнамо. Может, месяц в небе. Звезды. Галактики какие-то говорят. Хороводом ходят. Земля, как волчок. Меняется день и ночь. Вокруг солнца мотанет круг — году капут. Новый приходит. Праздник. Бог мой, какой интересный мир придется покинуть. Мать от болезни не вылечил. И Айну жалко. Кормить нечем — будет скитаться меж двор... Мне-то сейчас легко делается. А каково тебе, моя спаниэлюшка, в этом мире! Ведь сухой корочки никто не подаст.

Медленно погружается в воду.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

АВТОР. Лодке, ясно, гибель. И людям тоже. Всем. Перед нами Смерть! Костлявая, скалозубая безнаказанно гуляет по свету. Смерть ежечасно, ежеминутно идет рука об руку с нами. Часто она — избавление от мучений. Желанна. Ожидаема.

Но трагедия ли это? Кирпич, случайно упавший с крыши на голову человека и убивший его, что это, трагедия? Роту из засады расстреляли — трагедия?

Нет!

Подлодка легла на дно насовсем вместе с экипажем — трагедия?

Нет!

Так где же она?

Почему зритель древних времен, зритель Эсхила, Еврипида, Софокла, Шекспира видел и слышал ее голос, а у нынешнего глаза застлало белой пеленой, а уши заткнуты ватой? Софокл и Еврипид живут, и Сенека до сих пор здоровствует, а в современном мире у нас трагедии нет. Почему? Ответа нет.

Грустно мне и тоскливо. Не верю, не может быть того, чтобы трагедия растворилась, как легкое облако в синем небе.

Эврика! Нашел! Умом дошел! Догадался. Я понял, узнал, где прячется трагедия. Она — во мне. Во внутреннем вместилище моего живого существа.

Ни один Эсхил, ни Софокл, ни Шекспир в свое время не очаровали бы спектаклем своего современника, если бы трагедия не гнездилась в душе каждого человека. Трагедия — это воля неба. Трагедия — это ощущение рока или судьбы. Всеми, не исключая никого.

Трагедия — это чувство вины за свои дела и поступки, и за деяния народа, всего человечества. Не будет в тебе этого осознанного чувства вины, не быть трагедии, не привьется она ни на какой сцене.

Скорей всего трагедия — не литературный жанр. Это — нормальное естественное состояние человека.

Трагедия — это возвышение духа. Стремление к чистоте. Это обращение к Милости Божией.

Очищение, катарсис — это то, к чему должен стремиться каждый.

Без чувства вины, без стремления очиститься от скверны не может быть нормального человека, тем более артиста или просто человека, исполняющего свою роль на жизненном ристалище, тем более трагедийного жанра, самого высокого из всех видов искусства, не считая музыки.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ясный, веселый солнечный день. Море тихое, спокойное. Небо голубое, в вышине белые крупные облака. Вьются чайки. На берегу моря толпа — жены, матери, сестры, братья, отцы затонувшей субмарины. Среди них: ЭММА, ЛЮДМИЛА, ЗИНАИДА ТИХОНОВНА, КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА, ЛИЯ, АНКА ЧАПАЙНИЦА, МАССИ-ПАЯ. Толпа молодых матросов во главе с Анкой Чапайницей подступает к Массе-Пае.

ЧАПАЙНИЦА. А-а, колдовка. Наконец-то мы с тобой повстречались на узкой тропиночке. Некуда тебе от меня сегодня скрыться, если только не нырнуть в море. Сознавайся, дьявольская сила, перед народом: твоих рук дело! Утопила!.. Чего ты на меня уставилась своими буркалами! Одна, может, я твоих зыркалок и испужалась бы, а с народом мне ты не страшна.

МАССИ-ПАЯ. Чего тебе, Анна, от меня нужно?

ЧАПАЙНИЦА. Мы пришли тебя судить моральным самосудом. Заслужила. Субмарину вместе с экипажем утопила. *(К матросам.)* Наподавайте ей, пусть помнит, как колдовать! *(Сквозь слезы.)* У меня муж родной на дне остался да два племянника. Была семья — нету. Одна. Чем я теперь поправлю убытки?

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Зря ты на нее валишь, Анна. Ты же слышала, она просила не ходить в поход — не послушались.

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА. Как у тебя, Анна, язык поворачивается

супротив моей дочки? Разве могла она хотеть нашей субмарине зла? У нас там двое — Володя и Николай Николаич. Каким надо быть извергом рода человеческого, чтобы хотеть родным зла! Окстись, Анна!

ЧАПАЙНИЦА. Опять, получается, никто не виноватый. Ни Сталин не виноват, ни Ленин. Ни Хрущев не виноватый, ни Брежнев. И за Чернобыль никто не ответил. Все правы, круговая, как словно в народном суде, порука. Не проткнешь. Воюем — у нас человечья жизнь дешевле куска мыла. Чернобыль взорвался — отравы на всю Европу — виноватых ни одного. А мне от того не легче. Я какой день подряд расплакаться не могу. Заклинило. Выдавливаю слезы, а они ни с места. Как заговоренные. Кто ответит за это мое состояние?

КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА (*привлекая ее к себе*). Милая ты моя Аннушка. Оттого ты расплакаться не можешь, что жесточилась сердцем. С чего тебе вздумалось кыриться на мою Паюшку?! Зачем? Ведь вместе росли. Подружки. На холмы за цветами всегда вместе. У нас ты, бывало, день-деньской пропадала. И приданое, как замуж тебе, мы с Николай Николаичем приготовили. Я к тому: смягчись сердцем! Обратись к Богу. Ты — добрая. Душа у тебя. Не чуждайся людей. Полюби человека, тебе, Аннушка, легче сделается. А утопых не вернешь. Они обрели покой. Я об одном молю Бога, чтобы лодку не стали со дна доставать. Не к чему нарушать покой усопших. Братская могила. Мало ли их! Наше море усеяно могилами. И русскими, и английскими, и американскими — целый интернационал. Все мирно спят. Ни ругани, ни ссор. И ты успокойся. Войди в себя. Обрети себя. Легче станет. Погибших не вернуть, а нам надо жить дальше.

Анка Чапайница, уткнувшись в грудь Клавдии Георгиевны, плачет.

МАССИ-ПАЯ. Прости, мама, но я хочу тебе возразить. Говоришь: погибли? Никто не погиб. Все живы... (*К женщинам.*)

Подчиняется мне Время,
Пространство,
И высота горных вершин,
И бездонная глыбь морей.
Я — простая, как вы,
Но я немножко другая...
Верьте мне, верьте: они — живы!
И лодка цела, и люди живы.
На ходу субмарина,

Рассекает глыби,
Кипит ее реактор,
Угребают соленую воду ее винты.
Быстро идет.
Мелькнула — скрылась из виду.
Я слышу, вижу, от моих глаз
Ей не скрыться. В рубке у перископа мой брат,
Мой отец с ним рядом.
Они спокойны, они на вахте.
На службе они.
И экипаж цел, не пострадал:
Кто на вахте, кто отдыхает...
Они уходят все дальше.
Будущее им расстиляет дорогу
Скатертью.
Там не обойтись без них.
Там не обойтись без нас.
Не обойтись там без нас —
Добрых сердцем,
Честных и справедливых,
Любящих,
Почитающих Бога! Перестаньте плакать!
Не надо рыданий! Возрадуемся:
Наш посланец ушел в будущее.
Как прибудет на место субмарина,
Любимые нас позовут к себе,
И мы пойдем быстрым ходом
По морю,
По морю! Верьте мне, верьте,
Я говорю правду!

ЭММА. Я верю. Они живы!.. *(Поет.)*

Чайка смело полетела над седой волной,
Окунулась и вернулась, вьется надо мной.
Ну-ка, чайка, отвечай-ка: друг ты или нет?
Ты возьми-ка, отнеси-ка милому привет!..

Закрывает лицо руками. Динамик продолжает:

Милый в море на просторе в голубом краю,
Передай-ка, птица чайка, весточку мою:
Я страдаю, ожидаю друга своего,
Пусть он любит, не забудет, больше ничего!
Верь, мой сокол, ты далеко, но любовь со мной,
Будь спокоен, милый воин, мой моряк родной!..
Чайка взвилась, покружилась, унеслась стрелой.
В море тает, улетает мой конверт живой...

КОНЕЦ

Томск – Тамбов, 1952-2002 гг.





Роман КУЗЬМИН

Роман Кузьмин родился 20 июля 1981 года в районном посёлке Инжавино Тамбовской области. Учился в Инжавинской средней школе № 1, которую окончил с серебряной медалью. Без проблем поступил на физико-математический факультет Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. Работал в сельской школе, в настоящее время — преподаватель в кооперативном техникуме Тамбовского облпотребсоюза.

Стихи Роман начал писать в старших классах школы. Одновременно появилось желание соединить свою поэзию с музыкой, и он стал исполнять собственные песни под гитару. Неоднократно становился победителем районных литературных конкурсов. С 2003 года Роман — член творческого объединения «Откровение» инжавинских литераторов-любителей.

В творческом багаже молодого поэта на сегодняшний день публикации в газетах и коллективных сборниках «Не бывает несчастной любви» и «Глаза в глаза», авторская книга стихов «Дневник обыкновенного романтика».

В 2004 году Роман Кузьмин успешно выдержал конкурсный отбор и был участником 1-го слёта молодых талантов «Дети Солнца», проходившего в Москве. Творчество тамбовского поэта получило высокую оценку руководителей слёта, подборка его стихов была опубликована в «толстом» журнале «Московский вестник».

Людмила КОТОВА,
член Союза писателей России,
руководитель литобъединения «Откровение».

КРИЗИС

*Наступил кризис жанра, мы в дикой печали.
Нет тоски и нет боли. Лишь радость-веселье.
Говорим обо всем, о чем раньше молчали.
Совершаем же, что никогда б не посмели.
Можем мы хохотать саркастично над жизнью,
И рассказывать пошлые лишь анекдоты.
Мы лишь стадо шутов, и частушки на тризне
Мы поём. Вот и вся в этом наша работа.
Наступил кризис жанра. И жанр – не помеха:
Что роман, что поэма – пожалуй, едино.
Мы, с одной стороны, умираем со смеха,
А с другой – мы живем только наполовину.
Наплевать и уйти от веселой пирушки,
Посидеть, помолчать, на закат помолиться.
Память будто порезав на тонкие стружки,
Представляем давно позабытые лица.*

* * *

*Исчезновение – не есть прощание.
Зачем сомнения и нарекания.
С Землей по-прежнему мы вместе вертимся.
Пройдут мгновения – мы снова встретимся.*

ДВОЙСТВЕННОСТЬ

Сомневаться нам свойственно.
Двойственно
Жизнь течет, изменяется.
Маются
Наши души невучие,
Жгучие,
А порой безобразные –
Разные.
И усилья бесцветные,
Тщетные
Прилагаем и боремся.
Ссоримся.
Отношения комкаем.
Звонкая
Жизнь гудит, развивается.
Валится
Все из рук нерешительных.
Мнительно
Крест кладем, руки путаем.
Дутая
Наша вера и праздная.
Властная,
А с изнанки понятная –
Внятная.
Рождены несуразными.
Фразами,
Говорим мы красивыми –
Льстивыми.
Мы на небо возносимся,
Просимся.
Иль в геенну срываемся –
Каемся.

* * *

*Устав от мерзкой повседневности
И говоря порой банальности,
Мы отrekliсь от ГЛУПОЙ нежности,
Повязнув в ГЛУПОЙ аморальности.*

ПОЭТАМ

*Однорукие, одноногие
И больные на голову тоже.
Косоглазые, кривобокие,
То с опухшей, то с битой рожей.
Сангвиничные, холеричные,
Оптимисты с дырявым прошлым.
Лопоухие и циничные,
Ни на что вовсе не похожие.
Аналитики и романтики,
Жизнь по полкам порассовавшие.
Меланхолики и флегматики.
Вы – в один все котел попавшие.
Судьбы больше всегда трагичные,
Будто общая есть прародина.
Внешне люди вполне обычные,
Просто дар есть у вас особенный.*

ВДОХНОВЕНИЕ

*Эх, полить бы сердце болью,
Полоснуть по нервам бритвой!
Флаг поднять над новой битвой
Словоблудья и покоя.
Испытать бы боль утраты,
И, отрицув все каноны,
Посмотреть в глаза иконам.
Бросив всё, уйти куда-то.
Или, может, нужно просто
Погулять полями ночью,
Разрывая душу в клочья,
Наблюдать за лунным ростом?
Разбросав без сожаленья
Серебро по белу свету,
Ощутить себя одетым
Покрывалом вдохновенья.*

ОДНООБРАЗИЕ

*Однообразие убийственно,
Многообразие кощунственно.
И руки-ноги так безжизненны,
Душа же с сердцем так бесчувственны.
Не понимаю, что за бестия
Мне жизни линию подкинула.
Сегодня утром были вместе мы,
А чуть попозже половинами.
Наверно, мы не расположены
Сейчас к взаимопротяжению.
Мы как рефлексy заторможены,
Но как удар – с опережением.*

СНЕГ

*Снег в июле – это ложь,
 Дождь в июле правда.
 Не поймешь, не разберешь.
 Разве я не прав? Да?
 Посмотрите: с тополей
 Снег летит пушистый.
 Так что, дождик, лей сильнее
 На букет душистый.
 Разнотравье и роса
 Лугом чистым вьются.
 Лишь кошачьи голоса
 По душе скребутся.
 Ну и ладно, ну и пусть,
 Что придумал это.
 Видно, скоро вновь влюблюсь...
 Снова безответно.*

ПАРАНОЙЯ

*Параноидальное наследие
 С недоперепутанными буквами.
 Гравитационная трагедия:
 Сплющенная ваза с незабудками.
 Расперекорезанным сознанием
 Не достичь глубин бытийной сущности.
 Дважды неисполненным желанием
 Преумножить яркость звездной кучности.
 Перерасторможенными нервами
 Удрученно броситься в конвульсию.
 Откреститься вождеделенно первому,
 Испытать в сомнении рекурсию.*

ТАТЬ

*Я снова вынужден писать,
Нет, завязать не получилось.
Я словно распоследний тать,
Не уповающий на милость,
Дававший сотни раз зарок,
Превозмогающий сомненья,
Исчерпав свой, казалось, срок,
Я совершаю преступленье.
И будто бы в хмельном бреду,
Беру трясущейся рукою
Я карандаш, и им веду,
Не зная страха и покоя.
Завязнув в паутине грёз
И слыша, сердце как забилося,
Я понимаю, что всерьёз
Вновь завязать не получилось.*

* * *

*Почему плачет небо?
Мне никак не понять.
Разбежаться вот мне бы,
Дрожь в коленях унять,
Удивить небо взмахом
Крыльев. Без всякой лжи.
И по небу без страха
Заложить виражи.
Вознестись над землёю,
Устремиться к луне.
Пасть оттуда героем...
Небо, плачь обо мне.*

* * *

Обижаю,
 ломаю,
 порчу,
 Всё крушу, не найдя ответа.
 Жизнь играет и рожки корчит,
 Обратившись порывом ветра.
 Словно сном
 перезвон
 сомненья
 Над душой совершил насилие.
 Нахожусь на краю смятенья,
 Бьюсь в напрасном, тупом бессилье.
 Разорвать,
 разметать,
 разрушить,
 Переполнить сосуд терпенья.
 Разобраться, кто больше нужен,
 Всех простить и уйти в забвенье.

* * *

С чего же начинается любовь?
 Быть может, с первой мимолетной встречи,
 Столкнувшей нас в простой осенний вечер,
 Когда казалось, лишь не прекословь?
 А может быть, с улыбки или взгляда,
 Который не всегда так нежен был?
 И кажется, что ты всегда любил,
 И подтверждения тому не надо!
 А может с первой ссоры, драки в кровь,
 Когда готов убить, возненавидеть,
 И слезы вдруг в глазах твоих увидеть?
 С чего же начинается любовь?

*Как долго может длиться сон?
Мы ставим жизнь свою на кон.
Все изменяется когда-то.
И даже этот слабый стон
Умолкнет, словно нежный звон,
Струн, зазвучавших в унисон,
Как будто бы в лучах заката
Померкший горизонт.*

*Пройдут года. Затихнет боль.
Всегда доля ее с Тобой,
Навстречу небесам распятым
Мы шли в последний бой.
Но, захлебнувшись глубиной,
Мы все ж встречались с болью той,
Что не вдали, а где-то рядом:
Всего лишь за стеной.*

*И снова кавардак в душе.
И словно дети мы уже
Надеемся еще на что-то.
Кривых зеркал не веря лжи,
Мы знаем, Ты непогрешим.
И верой-правдой сослужив,
Ты жертвуешь в бою кого-то,
А кто-то остается жив.*

*А может, надо было лишь
Сказать, что Ты душой кривишь,
Смысл истинный от нас скрывая.
Всей правды нам не говоришь,
Бывает, попросту молчишь,
Чтоб нас всегда манила высь.
И вышнюю прикрываясь,
Ты нами все же дорожишь.*

ЖЕНЩИНЕ

*Ты такая весенняя, солнечная,
В дверь открытую смело глядящая,
А порою такая беспомощная
И какая-то ненастоящая.
Разбежавшись, способная броситься
С головой в кутерьму невезения.
И мгновения мимо проносятся.
Ведь короткие эти мгновения.
Обижаясь на жизнь бесполовую,
Ожидаяшь, что все переменится,
Но бросаешься в пропасть ты новую
И летишь, дно увидеть осмелившись.
А вокруг все стоят и любят, любуются,
Удивляясь, как ты переменчива.
И рифмуясь, слова не рифмуются,
Ведь на то ты, наверно, и ЖЕНЩИНА.*





Елена ЛУКАНКИНА

Елене Луканкиной всего 24 года, но она уже автор трёх книг — «Маленькие жизни», «Искусство крика» (поэзия) и «Полуангелы» (проза).

Сейчас на личной страничке Лены в рамках интернет-портала Stihi.ru (<http://www.stihi.ru/author.html?lel2004>) она публикует-вывешивает всё новые и новые свои поэтические творения — судя по всему, активно рождается ещё один сборник.

Е. Луканкина окончила факультет журналистики ТГУ им. Г. Р. Державина с красным дипломом. Прошла «поэтические университеты» в таких совершенно разных по духу литобъединениях, как «Тропинка» и «Академия Зауми». Но главным и самым важным источником учёбы для юной поэтессы стало творчество её любимых Поэтов: М. Цветаевой, В. Маяковского, Е. Харланова...

Уже из перечня этих имён понятно, почему поэзия Лены — метафорична, наполнена духом экспрессионизма и элементами экзистенциализма, зачастую сложна по форме. Что ж, в этом, может быть, и состоит одно из главных достоинств её поэзии.

Осенью 2004 года Лена, пройдя конкурсный отбор, участвовала в 1-м Всероссийском слёте молодых литераторов «Дети Солнца», где её творчество получило высокую оценку маститых столичных литераторов. Как результат этого, публикации Е. Луканкиной уже появились в московских газетах и журналах «Российский писатель», «Московский литератор», «Московский вестник», «Российский колокол» и др.

А в конце прошлого года Лену приняли в Союз писателей России.

Остаётся пожелать ей новых стихов, новых книг, новых публикаций, новых побед в конкурсах и главное — неустанного творческого роста.

Николай НАСЕДКИН,
председатель правления
Тамбовской писательской организации.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА

*И солнца нет, но падают лучи,
в строке последней каждый раз – молитва!
От слабости лечи меня, лечи,
открой мне то, что было не открыто.*

*Удар в лицо, потом ещё удар –
так рифма бьёт безжалостно и больно.
Строка, спаси! Мне образ яркий дай,
и звуки станут рифмой колокольной.*

*Спешу, быстреей, бросая зёрна слов,
поля тоски вспахав наполовину,
и вот финал! Прогромыхал засов!
Строка сошла с высоких гор лавиной!*

*Болею стихами –
хронический случай
душа полыхает,
рассудок измучен.*

*И утром, и ночью –
то боли, то стоны.
Всё что-то пророчит
мой дух воспалённый.*

*Лечить бесполезно,
болеют все чувства!
От этой болезни
лечиться – кощунство!*

*Черти не моются в бане –
им по душе чернота.
Мы попадаем в капканы,
там ждёт не чёрт, а черта:*

*слева – «нельзя», справа – «можно»,
трудно идти по прямой,
и потому так несложно
к чёрту послать, не домой!*

*Эта традиция наша
слепо ведёт за черту...
В баню тебя и меня же!
Выпарить всю черноту!*

НЕПЕРЕЖИТОЕ

*Я, как в хмельном бреду,
тело набито ватой,
просто вперёд иду,
ноги ведут куда-то.*

*Ты наложил запрет –
губ не касаться боле.
Прав ты и всё же – нет,
это больнее боли.*

*Сердце пора менять –
вывернулось наружу.
Не отпускай меня,
раз отпустить – не лучше.*

*Ты мне сказал, и нож
всё распорол под кожей:*

*«Если сейчас уйдёшь,
не возвращайся больше!»*

*...Ветер слегка подул,
хлопнула крышка гроба!
Я умирать иду,
так мы решили оба!*

*Родные прощаются люди,
отрезаны к счастью пути.
... Он боль свою в гневе остудит,
отпустит тебя.
Уходи!*

*Уйдёшь!
Ты уже уходила,
но тянет опять на порог
какая-то страшная сила,
что в муках находит свой прок.*

*Стрелой ранит каждое слово,
терпения кончился бинт.
Тебя потеряет он снова
и будет сильнее любить!*

*Сестрой хочешь быть ему?
Глупо!
Он каждую ночь видит сон:
твои пересохишие губы
и страсти раскрытый бутон.*

*Но всё это было когда-то,
а если и будет – тупик.
Страшней не бывает заката...
Губу прикуси и терти!*

*Я в твоей пищевой цепочке
жду смиренно последнего часа,
жду холодной и честной точки,
в запятых быть смешно и опасно.*

*Ты читаешь своё решение –
ставить точку на всём и порядок!
Сердце выбрано для мишени.*

Стой!..

Опомнись!..

Не делай!..

Не надо!!!

*Ты метёшь всё крыльями дорогу –
тяжела заспинная сума,
и от солнца – красные ожоги,
треснул нимб – пора его снимать.*

*Жду тебя, разжалованный ангел,
пусть горит всё чёрным языком!
На земле за многих ты отплакал,
возвращайся в мир моих икон!*

*Я устала, и ты устал,
расставанье уже не ново...
До считай про себя до ста,
я уйду, чтоб вернуться снова:*

*через год или день, другой –
как порвутся обиды сети...
Попрощайся сейчас со мной,
чтобы снова с улыбкой встретить!*

*Я – заброшенная за шкаф вещь,
в паутине мне теперь спать,
пауки мне принесли весть –
на земле в пыли свой Ад.*

*Отутюжила стена бок,
а сквозняк мне прострелил грудь,
на земле в пыли свой Бог,
на земле в пыли свой Суд.*

*Я – заброшенная за шкаф вещь,
угол чёрный мне один рад.
Ты нашёл меня в пыли здесь,
и забрал меня в свой Рай.*

МОЙ КРЕСТ

*Снова кровавый бинт...
Счастье и боль ходят парами.
Кто бы меня ни любил –
сердце своё мне отпарывал.*

*Я – их красивый гроб,
в нём задыхаются медленно.
Просто добром за добро
людям платить не умею я.*

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

*Сколько скверных стихов выедают глаза
и от них, как от фальши, не деться.
Ах, Марина моя, как могла ты сказать,
как вратала в уставшее сердце.*

*Старый томик стихов на столе у меня:
все молитвы прочту и воскресну,
и очищусь от гари бездарного дня,
повторив твоё имя, как песню.*

*Ты цветёшь и цвети, моя муза и друг,
в отражениях строк – твои лица,
Знаю я наперёд дату творческих мук –
если снова Цветаева снится.*

*...А слово обретает плоть,
и мы творим себя, как можем.
Бывает, сбрасываем кожу,
или боимся уколоть...*

*Желанья магии полны,
и даже в самых тайных мыслях
врастают в имена и числа,
и переигрывают сны.*

*Всё что вокруг – то не молчит.
Повсюду знаки и намёки.
Быть может, даже эти строки
к чему-то важному ключи...*

ПУТИ

*Устанет путник, проклянёт свой крест,
сумы пустой желудок опостылет,
изношенность сапог и кожи блеск,
лучи и ливни – пулями навьлет.*

*Вернётся в дом свой, вспомнит, что забыл,
клубки привычек разматает вскоре,
пойдёт к друзьям, потом среди могил
свои узнает, будет пуст от горя.*

*Так проживёт он и на Страшный Суд
придёт с остывшей памятью однажды.
Когда-то он искал душе приют,
но победила в нём иная жажда.*

*Другой возьмёт суму, одежду ту,
закроет дом, а с ним подвалы правил,
и, если не предаст свою мечту,
найдёт он вдвое больше, чем оставил.*

*Уходящих крести в добрый путь,
служит память твоя оберегом.
Не клянись помнить всё, как-нибудь
искры прошлого выпадут снегом.*

*Растворится в небесной строке
тёплым облаком близкое имя,
в новый день ты войдёшь налегке,
вещи сложные станут простыми.*

*Всё вернётся, как в небо дожди
возвращаются с речек туманом.
Провожай уходящих!.. И жди
в каждом знаке тебе свыше данном.*

*Убиенный, чего ты хочешь?!
Я тебя отпустила с лешими
и боялась, что стану очень
или менее сумасшедшею.*

*Ну зачем, объясни мне, дуре,
гладить нежно на сердце трещины,
и в толпе по твоей фигуре
выбирать тебе снова женичину?!*

*Я мельчаю, а дно всё ниже,
камни острые – иглы ревности.
Знаю правду и плачу тише –
мне уйти не хватило смелости.*

*Присушил ты меня так сильно,
я готова ползти над минами.
Хочешь – на четвереньках псиной
или, может быть, по-змеиному...*

*Убиенный, зачем воскрес ты?
Мои силы совсем изношены.
Если жить – то твоей невестой,
умирать – так тобою брошенной.*



Александра НИКОЛАЕВА



Едва научившись читать и писать, Саша Николаева стала придумывать рифмованные слова и строки. Постепенно они оформлялись в небольшие стихотворения, которые с годами приобретали всё более осмысленное звучание. Содержание стихотворных сочинений о природе родного края, о маме, о прочитанных книгах и понравившихся героях свидетельствовало о стремлении начинающего автора передать свои детские переживания посредством поэтического слова.

С восьми лет Александра занимается в литературно-творческом объединении «Тропинка» областной детской библиотеки. Помню, как на одном из занятий Саша прочитала стихотворение «Осеннее пальто». При всём несовершенстве (с точки зрения профессионального поэта: много, например, глагольных рифм) стихи эти запомнились наблюдательностью, глубиной проникновения ребёнка в смысл, в сущность того, что происходит, в данном случае — с вещью, когда она становится на какой-то период ненужной. А ведь подобное случается и с людьми. Автору тогда было десять лет.

Сейчас Александра Николаева — студентка ТГУ имени Г. Р. Державина. Она автор сборника стихов «Что о себе могу я рассказать?», вышедшего в 2003 году, многих публикаций в коллективных изданиях, в местной и центральной печати.

В 2005 году юная поэтесса стала участницей проходившего в Москве 3-го слёта «Дети Солнца», где её стихи получили высокую оценку столичных поэтов и критиков.

Валентина ДОРОЖКИНА,
член Союза писателей России,
руководитель литобъединения «Тропинка».

СТИХИ

(Этюд)

*Стихи. Они прекрасны и тихи
(Нельзя кричать о сокровенном в голос),
И лишены банальной чепухи –
Нелепой жизни слишком частой гостью.*

*Стихи неуловимы и просты.
Да, невозможно их рукой потрогать,
Но печат душу, на листе застыв,
Волной зелёной, бисерною, строки.*

*Стихи. Они сияюще добры,
Как созданные чудеса веками.
Но если нет ни правды, ни игры,
То для чего мы их зовём стихами?*

*Не озаряя чёрствой жизни мрака,
Они собранье бесполезных знаков.*

* * *

*Говорят, что в прекрасном далёком краю
Есть неведомый остров, загадочный, чудный,
Ограждённый лесною стеной изумрудной
От страданий, тревог, ураганов и вьюг.*

*Здесь, у бархатной глади прозрачных озёр,
Жили белые лебеди дружною стаей,
И природа не знала, что птицы мечтают
О лазоревом небе, безмолвии гор,*

*О слиянии с вольным дыханьем земли,
О таинственных звёздах, о море безбрежном,*

*Чтоб взмахнуть на прощанье крылом белоснежным,
Чтоб над озером таял задумчивый клик.*

*Но безжалостный ветер пощады не знал
К этим гордым, свободным, крылатым созданиям,
И, не справившись с бурей, безжизненным камнем
Птицы падали с криком к подножию скал.*

*Так и мы покидаем страну светлых снов,
Растаемся с долиной волшебного детства.
Что нас ждёт? Нет ответа и радостных слов,
Помогающих бедному сердцу согреться.*

ЭЛЕГИЯ

*Ответь, почему золотой абрикосовый сад
Сегодня молчит и обиженно хмурится
Следами на тропках – пристанищах длинных цитат
Нечитанной книги судьбы с горькой мудростью.*

*На этой скамейке некрашеной юной весной
Смеялись, твердили невинные глупости,
Не зная о скупости жизни на таинство снов,
На встречи, минутные, светлые, скупости.*

*Ответь, почему рукавички мохнатые лип
Целуют нежнее, чем ты при прощании.
Наверно, мы просто друг друга понять не смогли,
А липы поверили в мнимое счастье...*

* * *

*В одиннадцать сходили постепенно
Кварталы разноцветные с ума.
Раскосых улиц мрачность, и в домах
Мир джунглей оживал на гобеленах.*

*А в баре тосковали «полубоги».
Туман зеленоватый сигарет.
Романтика? Не знаю, да и нет.
Романтика бесстыдницы-эпохи.*

*Двенадцать, час... В кошмаре не приснится
Уродливая искажённость лиц
Почти детей – шуты и короли
В угаре страшном и необъяснимом.*

*Очнувшись утром, я увижу скудость
Вчерашних грёз – мелеющих морей,
Ехидную усмешку фонарей
Над нами, потерявшими рассудок.*

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

*Бывают в жизни ребусы –
К ним не найти разгадки.
Рогатые троллейбусы –
Рогатые сайгаки,*

*Зелёные и синие,
Лимонные, цветные,
Наполнили стихиями
Бульвары, мостовые.*

*Неслись, стуча колёсами,
Ворчали, словно барсы,*

*Желая стать колоссами
Трагического фарса.*

*«Куда летят, бессонные,
Забыв про всё на свете?..
Премьера ли симфонии,
Спектакль в оперетте?..»*

*«На дискотеку, празднество,
В бассейн, на работу...
Но нам какая разница:
У нас – свои заботы!»*

*Покрыты тайной ребусы –
И не найти разгадки.
Рогатые троллейбусы –
Рогатые сайгаки...*

ЧАСЫ

*Созвездия минут,
Галактики секунд
Нехитрый механизм
Стенных часов скрывает,
Что в странствиях своих
Попутчиков не ждут.
Они в двухсотый век,
Наверно, убегают.*

*Боятся разлюбить
Малиновый рассвет,
Хромой дубовый стол
И бархатные шторы.
Но им никто не даст
На самолёт билет,
И реки глубоки,
И неприступны горы...*

*Не дерево и медь
Искусный циферблат,
Рассказанная быль
Забывших поколений.
В ней летопись грехов,
Нечаянных утрат,
Непонятых надежд
Сгоревшие поленья.*

ИЗ «МОСКОВСКОГО»

*В Москве сегодня в моде колоссальность
Проспектов, зданий, не умов и чувств.
Постмодернистских улиц гениальность
Совсем по-детски понимать учусь.*

*И не могу... постичь гигантоманию.
Их, небоскрёбов, сердце не зажегло
Василия Блаженного страданье
В мозаике червлёных куполов.*

*Ордынки полусонная сутулость,
Тверского золотая тишина.
Печальные невидимые мулы
Ползут по дому – задрожит стена.*

*Подарит снова незнакомец вечер
Совсем тургеневский бездонный взгляд.
И верится: мне выбежит навстречу
Лохматый штиц, как сотню лет назад...*

РОЖДЕСТВО

*Рождество – это время любви и надежды,
Примиренья врагов, единенья друзей,
То безмерная радость, то снежная нежность,
Созерцание Бога в молчанье ночей.*

*У него золотая улыбка младенца,
Что сверкает в узорах замёрзших окон;
На минорном снегу бестелесные тени,
Колокольчиков чистый и сказочный звон.*

*Рождество – это дом... В нём открытые двери
Для горячих сердец и приветливых лиц.
Необычные маски, гирлянды и перья,
Пробужденье в душе позабытых молитв.*

*Это церковь в огнях, седовласый священник,
Литургии торжественной сладостный звук.
У наряженной ели детей шумный круг,
Это свыше нам данное благословенье!*

ЗВЁЗДЫ

*Звёзды,
Вы глаза дорогих незнакомцев;
Слёзы
Марсиан, покидающих космос;*

*Вехи
Чьей-то жизни, великой, прекрасной;
Свечи,
Огоньки, что, сияя, не гаснут;*

ЮНОСТЬ

*Знамя
Единения грешника с Богом...
Знаю,
Если хочется, сможешь потрогать*

*Звёзды –
Угли сердца, живого камина.
Воздух
Ночью пахнет покоем и тмином.*



АНТОН ВЕСЕЛОВСКИЙ



Антон Веселовский родился в Москве в 1984 году. С детства живет в Тамбове, окончил среднюю и детскую художественную школы. Сейчас учится на факультете журналистики ТГУ им. Г.Р. Державина.

Антон — четвертое поколение семьи профессиональных литераторов. С рождения общаясь с поэтами, художниками и другой творческой интеллигенцией, он рано начал пробовать себя в живописи, графике и поэзии. Первые стихи относятся к 11-12 годам, и в них уже чувствуется высокий уровень «планки». У молодого поэта пока нет своего поэтического сборника — только публикации в коллективных, а также в местной и столичной периодике, но его произведения многие любители литературы знают.

С 15 лет Антон посещает занятия литературного объединения «Радуга». В те же годы стал ходить на заседания студии «Академия зауми». Это сразу расширило его творческую палитру.

Веселовский не только пишет сам, но и постоянно ищет единомышленников. По его инициативе в университете была создана литературная группа «Студия 8», в течение двух лет он проводил занятия, собирал произведения ее членов и выпускал альманахи «Первоцвет».

В прошлом году Антон прошел отборочный конкурс и был участником 3-го слета молодых литераторов «Дети Солнца» в Москве, где стихи его прозвучали очень весомо. Кроме того, Антон Веселовский уже известен в литературных кругах как книжный график. Его рисунки украсили несколько поэтических сборников собратьев по перу.

Татьяна КУРБАТОВА,
член Союза писателей России,
руководитель литобъединения «Радуга».

ПОЧТИ СОНЕТ

*Бессмысленно завидовать врагам.
Пусть будут у них тачки и квартиры
И золотом отделаны сортиры,
Но мелким они молятся богам –
Бессмысленно завидовать врагам.*

*Бессмысленно завидовать друзьям –
В успехах их есть и твоя заслуга,
Нам трудно спорить с миром друг без друга,
Не плача, не язвя и не дерзя –
Бессмысленно завидовать друзьям.*

*Бессмысленно завидовать другим
И быть рабом несбыточных желаний,
Ведь всё равно ты поздно или рано
Уйдёшь из мира, как пришёл. Нагим.
Бессмысленно завидовать другим.*

*Но зависть острая меня берёт,
Когда я вижу ласточек полёт.*

* * *

*Мой интерес к тебе угас –
Меня ты слушаешь вполуха,
Да и в названии «Парнас»
Тебе всё слышится «порнуха».*

БЕРНИСАЖ

*Богема пила, в миски вилки совала,
Фуришет по-тамбовски – грибки и капуста,
А ты в уголке мандарином играла
С лицом Несмеяны иль девицы грусти.*

*Хотел подойти, но стеснялся вначале
И не в унисон с остальными гостями
Хлебал минералку. Мы оба молчали,
Но спорила мэтров толпа между нами.*

*Они говорили о роли искусства,
В полотнах великих искали изъяны.
И бились во мне всё сумбурнее чувства,
И было печальным лицо Несмеяны.*

*На наши вопросы не дали ответа,
От реплик от их мы смущались, как дети.
Мы были детьми уходящего века,
Но юностью нового тысячелетья.*

ГОРОД В ОСЕНИ

*И лимонные листья берёз,
И осиновые – цвета крови –
Задают мне один вопрос:
Что, москвич, ты нашёл в Тамбове?*

*Как ответить на это гордо мне,
Если вы меня тоже спросите?
Потому что в Москве осень в городе,
А в Тамбове у нас – город в осени.*

ПОДВОДНЫЙ ФЛАГ ВЕСНЫ

*Лист из контрольной выну –
Пусть мой исписанный ялик
В вешнем потоке растает.
И все платки носовые,
Что мы зимой потеряли,
Эти ручки отстирают.*

*Смоются злости и боли,
Память о подлых и ласковых,
Пятна слезинковой соли,
Пятна простуд и насморков.*

*Смоют с души обиды,
Зимних злословий мозаику,
Мыслей нечистых кашу...
И мой платок отмытый
Клетчатому кораблику
Флагом подводным машет...*

МОРОЗ

*От мороза потрескались ветки кустов,
В капюшоны прохожие спрятали лица,
Тускло смотрят сквозь изморозь окна домов,
И Медведицы ковши надменно звездится.*

*Через город ночной, через жгучий мороз,
Спотыкаясь, бреду по дороге знакомой,
А навстречу мне парень, знакомый до слез.
Это я. Тот, который не застал тебя дома.*

ГАЛАТЕЯ

*Снится мне, я работаю в храме.
И на фреске сырой предо мной
Из цветочно-орнаментной рамы
Проявляется лик неземной.*

*Как в кювете на фотобумаге
Всё ясней и тревожнее взгляд –
Мои кисти короткими взмахами
Образ Матери Божьей творят.*

*Я рисую, но будто не здесь я,
Это чудо рождается само:
Символ нежности, женщина-песня
Смотрит так, что у горла комок.*

*Боже правый! Она шевельнулась
И меня осенила крестом...
Но раздался будильника стон,
За стеною соседи проснулись,
И над снегом алеет восток...*

*Жить в мечтаньях – пустая затея.
Тру виски до головокруженья...
Присно Дева, моя Галатей,
Ты живёшь только в воображеньи.*

ТЕНИ

*Надоели романы пляжные,
Чуть чего – и опять виноватый я.
Тень твоя округло-вальяжная,
А моя, как всегда, угловатая.*

*По-над Цною сумрак зеленый,
Как вода, обнимает нас бережно,
Тень твоя совсем приземленная,
А моя – как у птицы бешеной.*

*Не ругай за очки и сутулость
И что спорю с тобою нелепо.
Тень твоя котенком свернулась,
А моя – по стенам и в небо.*

МЕЖДУ . . .

*Старые особняки-усадыбы,
С ясеня последний лист опал,
На одном углу играли свадьбу,
На другом – за гробом шла толпа.*

*Девушка, фатой живот скрывая
И скрывая непонятный страх,
На старушку издали взирает –
Обе с розами и в кружевах.*

*День как день. И морось перестала,
Лёгкий ветерок листьями вертит...
И живу посреди квартала
Я между рождением и смертью.*

*И куда от этого мне деться?
Загустело время чёрной патокой...*

*Я завис меж взрослостью и детством
И боюсь, что это слишком надолго.*

*Рожка в зеркале – сейчас бы так и вмазал ей!
Чёлкою излом бровей закрою.
Меж Европой я живу и Азией
И географически, и кровью.*

*Спор ведёт Америка с талибами,
Политологи от страха ноют,
И с прогнозом страшным: либо-либо,
Мы живём меж миром и войною.*

*Где-то Вознесенский свечи лепит,
Жириновский проигравший пьёт,
Мы живём меж двух тысячелетий
И висим меж них который год.*

*Меж богатых мы живём и нищих,
Среди отморозков и святых,
Средь учеников Христа и Нищие –
Поровну и тех здесь, и других.*

*Мир застыл в нестойком равновесьи.
В опасеньях и надежде мы,
Но поём и сочиняем песни –
Видно, для того и рождены.*

*И какие чаши нам достанутся,
Те, что вниз, иль те, что сразу вверх?
Вспомнятся катрены Нострадамуса,
И покроет землю первый снег...*

*Но пока что на душе безветрие,
Сыплет сад убранство бабьеветнее,
И надолго розы мне запомнятся
У невесты юной и покойницы.*

О чём и как пишут молодые, или Блеск и нищета «Дебюта»

Не только читатели нашего альманаха, но и рецензенты-критики уже заметили, что в разделе «Юность» мы публикуем действительно талантливых молодых поэтов (со временем дойдёт очередь и до прозаиков), чьё творчество помимо профессиональной формы отличается и глубиной содержания, и внятностью слога. Одним словом, подавляющее большинство из наших юных авторов можно отнести к разряду поэтов, продолжающих классические традиции русской литературы, традиции Пушкина, Есенина, Рубцова, Милосердова...

Появились в первых двух номерах «ТА» и молодые авторы, которые придерживаются несколько другого направления, скажем, более авангардного, воспитанники небезызвестной «Академии зауми», например, Алина Евлюхина или Антон Веселовский. Так будет и впредь: нам, членам редколлегии «ТА», не столь важно, КАК пишет молодой литератор (имеется в виду форма), а важно — ЧТО он пытается сказать читателю (содержание). Но есть опасение, что скоро достойные для публикации тексты молодых иссякнут.

Увы, в массе своей юные авторы, входящие сегодня в литературу (речь о тех, кто уже публикуется, издаётся или хотя бы выносит свои творения на суд посетителей Интернета), как раз с содержанием имеют проблемы и провалы: невнятица, пессимизм, цинизм, эпатаж, нарочитый антипатриотизм, ненормативная лексика — вот отличительные признаки молодой прозы и поэзии XXI века. Это проблема не только тамбовской, но и в целом российской литературы.

Сегодня мы перепечатаем из «Литературной газеты» (2006, № 9) два материала, в которых как раз и поднимается рассматривается эта проблема на примере самого массового литературного конкурса «Дебют». В нём участвует, конечно, немало и юных тамбовских авторов.

Первая статья посвящена проблемам молодой прозы; вторая — поэзии.

1. Бездомные дебютанты

ИВАНУШКИ-ИНТЕРНЕТНЛ

Велик и поразителен пророческий дар М. Булгакова! В своих художественных прозрениях Михаил Афанасьевич с равным успехом угадывал и глобальные мутации в человеческой природе и обществе, и конкретные опасности, которые подстерегают нашу культуру. Некоторые его предсказания в полной мере реализовываются только спустя десятилетия после смерти писателя.

Сказанное выше относится, например, к образу Ивана Бездомного.

Бездомные поэты булгаковской поры отрекались от родины не по зову души, а по указке и настоятельному водительству функционеров. Антирусские и антихристианские идеи появлялись в сочинениях иванушек благодаря планомерной и усердной деятельности берлиозов и латунских.

С тех пор прошло немало времени. Но предостережение, прозвучавшее в «Мастере и Маргарите», не утратило актуальности, а напротив — приобрело новые и, пожалуй, ещё более зловещие черты. Именно на такие мысли наводит знакомство с материалами независимой литературной премии «Дебют». С 2000 года Международный фонд «Поколение», руководимый депутатом Госдумы РФ А. В. Скочем, присуждает её авторам не старше 25 лет. Благое начинание, ничего не скажешь: в условиях разложения государственной помощи молодым талантам просто необходимо участие самостоятельной некоммерческой организации.

В течение нескольких лет мы слышим громогласную телерекламу, призывающую молодых авторов присылать свои творения на конкурс по разным номинациям. И премии назначены в самых что ни на есть долларах. Казалось бы, живи и радуйся! Но что-то тревожит душу, когда слушаешь призывы и высказывания нынешних вожатых литературной молодёжи (среди них достаточно известные в литературной среде М. Бутов, Д. Липскеров, В. Пуханов), когда читаешь произведе-

дения, отмеченные жюри «Дебюта». Туда ли ведут сегодняшних иванушек-интернешнл?

УТРО АНТРОПОИДОВ

Юности присуще стремление к свободе, порой даже ценой отречения от исконного и близкого. То, что молодые люди не сразу нащупывают свою родовую идентификацию, вполне естественно. Вступающий в жизнь не обязан сразу же быть мудрецом, доза инфантилизма юношескому восприятию не повредит.

Доза, но не лошадиная же! Именно эта мысль приходит в голову, когда читаешь сочинения трёхтомника прошлых лауреатов «Дебюта» (М., 2005). Если Пастернак в своё время робко интересовался у молодых, какое на дворе тысячелетие, то сегодня приходится задать им ряд дополнительных вопросов: а где вы живёте? В какой стране? На какой планете? И больше того — люди вы или антропоиды? Потому что подтверждения причастности хоть к какому-то дому у большинства дебютантов не обнаруживается.

Чингиз Айтматов в «Буранном полустанке» назвал это манкуртизацией. Помните, как безответно взывал старик к онемевшим солдатам: «Кто твой отец? Чей ты сын?!..»? Но если там речь шла о лишении родовой памяти простых пареньков, то здесь перед нами пример манкуртизации будущей интеллектуальной и художественной элиты.

А ведь земля предков и родная почва всегда питали вдохновение гениальных поэтов. Попробуйте представить себе Данте без его Италии, Гёте без Германии, Есенина без Рязанщины. Вычтите из их стихов географию души, и что останется в сухом остатке? Горький осадок.

Не думаю, что все авторы, приславшие работы на конкурс, представляют себе мир как царство бездомности. Но на то и существуют нынешние берлиозы-латунские, чтобы выбирать и указывать. Да так, чтобы мы верили, будто у новейшей русской литературы нет и не может быть иной траектории развития.

ТОШНОТА И УСТАЛОСТЬ

Именно эти слова, являющиеся названиями рассказов лауреата Василия Нагибина, можно назвать доминантами эмоционального и интонационного строя так называемой малой прозы. В большинстве случаев именно этими настроениями проникнуто творчество прошло-

годних победителей Олега Зоберна, Евгения Алёхина, Станислава Иванова. Вот назвал их победителями, и получился оксюморон: победители с упадническим лицом.

Герои их нетленных созданий — в основном молодые и безмозглые обалдуи. Бездельники, накачивающиеся пивом и ведущие полные смысла диалоги типа:

«— Блин, Вова, ты больной?»

— Да фигня, — говорит, — всё нормально будет... Дай сигарету. О, «Элэм», хорошо!..

— Вы, Владимир, баран.

— Да интересно же.

Он, пока я молча думал, выпил чуть ли не всё пиво.

— Эй! — говорю.

Он улыбается всей своей дурацкой рожей и бьёт меня в плечо.

— Я знал, что ты не фуфло.

— Вова, блин, кончай это дерьмо...»

(Е. Алёхин, «Бой с саблей»)

Я вовсе не хочу сказать, что в жизни не происходит подобных бесед. И нет таких персонажей. Но в ней есть и нечто другое, в том числе и в молодёжной среде (говорю не понаслышке, но исходя из долгого общения со студентами и собственными сыновьями).

Разумеется, не все диалоги в сборнике лауреатов столь «содержательны», но тенденция именно такова. Придуманые, не поймёшь где разворачивающиеся истории. Никчёмные герои. Невразумительные разговоры и поступки. Невнятная, рассыпающаяся как пыль символика. Ни к чему не ведущие концовки. Речь не о том, что авторы не умеют писать и обделены дарованием. Всё у некоторых из них в достатке, но отчего-то никто не подсказал молодым прозаикам, что настоящую духовность и художественность следует искать не здесь — на других путях.

Если говорить о методологических установках рассказчиков, то они, в общем, разнообразны: тут и натуралистическое бытописание, и элементы экзистенциальной тоски, и впитанные модели поведения битников и хиппи, и постмодернистские штудии. Стилистика такова: немного от Кафки, немного от Сартра, немного от Хемингуэя, немного от Сэлинджера, немного от Борхеса... Единственное, чего почти нет, так это следов влияния отечественной литературы: читая эту депрессивную прозу, никак не скажешь, что за плечами у этих ребят стоят Гоголь и Тургенев, Бунин и Шукшин.

БЛЕДНЫЕ ЛЮДИ

Несколько благополучнее в этом отношении драматургия и то, что подпало под жанр «большая проза». Это уже ближе к реальной жизни, что позволило составителям в преамбуле к одной из книг усмотреть здесь черты реализма, и притом нового.

В пьесах Николая Маоса и Инны Амировой, равно как в прозе Станислава Бенецкого и Игоря Савельева, ситуации узнаваемы и коллизии прочерчены более рельефно. У Бенецкого в повести «Школьный психиатр» избран потенциально продуктивный материал: молодой специалист оказывается в современном учебном заведении: непочтатый край практической работы — фобии, комплексы, отклонения как у детей, так и у учителей. Но сюжет вдруг съезжает в банальную колею отношений психиатра и школьной стоматологички, и читатель становится свидетелем неиспользованных писательских возможностей.

Главное же, писателю не удалось заинтересовать нас личностью своего персонажа, который получился нечётким, расплывчатым, бледным. Это относится также к истории автостопщиков, рассказанной И. Савельевым в повести «Бледный город». Молодые люди без особой цели колесят по стране, встречаются с друзьями, знакомятся со сверстниками, пьют пиво, дерутся, разговаривают с водителями; о жизни или же ни о чём. Трасса — удачный способ организовать динамичный сюжет, найти неожиданные повороты, свести людей и их судьбы. Но вот этого — чувства судьбы — повести-то и недостаёт. Герои опять-таки слишком бледны и худосочны, чтобы им всерьёз сопереживать, сочувствовать.

И всё-таки в работе Савельева есть оптимистические моменты, которые позволяют надеяться на то, что наши иванушки в конце концов преодолеют свою бездомность. Только в финале «Бледного города» звучит эта обнадеживающая нота: «Это ведь только словечки в автостопе все американские... А по сути это русская дорога и русская тоска».

КОСТРЫ В НОЧИ

Некогда из уст Кожинова мне довелось услышать такую метафору. Во время боёв под Москвой наши решили предпринять ночное кон-

трнаступление. Предстояло выйти в конкретную точку на местности, не сбившись с верного курса (кругом болота и минные поля). Чтоб войска в темноте не отклонились в сторону, командование придумало простой способ ориентировки: по линии атаки были разведены один за другим два костра. Если, оглядываясь назад, солдаты видели один огонь, значит, они идут правильно, если костры раздваиваются, то ясно, что движение колонны сбивается.

Перенося этот образ на культуру, Вадим Валерианович под кострами имел в виду цельность национальной художественной традиции, опиравшейся на «животворящий, полный разума русский язык» (Н. Заболоцкий). К сожалению, знакомясь с текстами «дебютантов», замечаешь, что они не только не видят один или два ночных костра, но зачастую просто не оглядываются назад, демонстрируя комплекс самодостаточности. Но если двигаться вот так безоглядно, то проще простого забрести в гиблое место.

Сергей КАЗНАЧЕЕВ.



2 . Диффузия зяблика с веткой

Знаки отличия: Поэтическая антология. М.: Независимая литературная премия «Дебют», Международный фонд «Поколение», 2005. 224 с.

В антологии собраны «лучшие произведения конкурсантов, финалистов и лауреатов» «Дебюта» 2004 года. Хотя книга называется «Знаки отличия», этого-то как раз — знаков отличия — у представленных в ней поэтов мало. Напротив, они в большинстве своём демонстрируют поразительное единство творческого метода. Сдаётся мне, что он заключается в том, чтобы записывать первое, что придёт в голову. Вторая версия: некоторые люди разговаривают во сне, может быть, они кладут на подушку включённый на запись диктофон, а потом расшифровку называют стихами? Третья версия: эти поэты используют генератор случайных словосочетаний. От т. н. автоматического письма представленное отличается двумя параметрами: во-первых, при «автоматическом письме» тексты выходят осмысленными, во-вторых, пишущий автоматически не отдаёт себе отчёта в том, что он вообще пишет. А молодые авторы сборника как раз отдают отчёт — называют себя и друг друга поэтами, выступают, издаются и премируются. Начав выписывать цитаты, я обнаружила, что сам собой составилась центон. Правда, обычно связи между строками в центоне бывают более прочными, обоснованными логически ли, грамматически ли, но в данном случае использованы строки из стихотворений, где связи между строками примерно такие же — слабообъяснимые.

*Может диффузия зяблика с веткой начнётся...
Когда я пишу, упиваясь сиянием букв,*

У меня раскрывается тайная дверца во лбу,
И каплет оттуда гемоглобинная хрень...
Я помню только первую кро-ко-диль!..
Мальчик тоненький
Принеси в головном мозгу
Много концентрических ртов...
Остов или остОв?..
Голова как долька лимона
У себя во рту говорит – мне мало...
Пустой головой сыграет в крокет
А мозгом сыграет в мяч...
Ещё я часто хожу в туалет
иногда просто так...
Глаз-пенис луны...
Гламурная содомия мокрый порох...
приходи вместе
съедем город...
Я готов поспорить
Что нужно ускорить
Маятника качанье ногай...
Стол завален всякою хернёй
Иногда кажется понимаю
Но чаще мне всё равно...
Лабаю тексты
в которых
полно дешёвой психологии
всех на свете смыслов...
Остановка висит груша
нельзя скушать папа лампочка...
молниеносный синтаксис
воспламеняющегося космоса...
я никогда не разбиралась в падежах...
и мы меняемся местоимениями...
я не помню где ставится ударение
кАтарсис или катАрсис в общем...
с заложенным носом всё по-другому

*быть может из-за изменения внутреннего давления...
я являюсь вопросом обращенным внутрь и вовне...
у меня, к тебе, может быть, детство, коленки...
я встал утром я сразу пошёл есть потом сразу писать стихи...
интернет /здесь могла бы быть Ваша реклама/...
послать БМБ спасибо до свидания...
Примерно всё то же, что было предложено выше.*

У этого «стихотворения» приблизительно двадцать авторов, а мог быть один, на этот текст похожи почти все стихи из антологии. Плохо переваренная школьная программа («кАтарсис или катАрсис?» «Остов или остОв?») плюс реалии современного быта (SMS, реклама, «стол завален...»), для оригинальности — бред, причём удивительно однообразный, на «околотелесные» темы («у меня к тебе коленки», «съедем город»). Марианна Гейде, молодой поэт и философ, предвещающий своей статьёй сборник, находит, что главное отличие этой поэзии — в «самодостаточности, которую тексты «сверхмолодых» обнаруживают по отношению к какому бы то ни было контексту». Верное замечание. Нет ничего самодостаточнее энтропии, у которой просто не может быть «контекста», потому что она есть смерть всего, всех текстов и контекстов. Нет, есть в книге и настоящие стихи, то есть не только написанные, но и сочинённые, созданные путём интеллектуальной и душевной работы. Насколько удачны результаты этой работы — другой вопрос. Дело ведь не в том, что молодые поэты бездарны (напротив, видно, что талантливы), а в том, что они не находят разницы между выплёскиванием на бумагу эмоций (действием сугубо терапевтическим), игрой в сочинительство, откуда и берутся весьма странные образы (так я в детстве, когда играли в больницу, особенно любила выписывать рецепты — исписывала груды бумаги каракулями, якобы латынью), и собственно сочинением, «деланием» стихов, занятием искусством. Не находят разницы между занятиями для себя и для других. Почему так сложилось у «сверхмолодых»? Почему домашние радости (и горести) рассматриваются прежде всего самими авторами как безусловная ценность? Может быть, потому, что Интернет заполнен терапевтическими текстами, что и принимается за «тоже образцы» поэзии. Да и «Дебют» руку приложил, с самого начала поощряя «диффузию зяблика с веткой».

Впрочем, критик Данила Давыдов для каждого поэта антологии находит свою литературную нишу. Может быть, он прав, кого-то из них относя к «поэтике прямого высказывания», кому-то приписывая «соединение привычных концептов и некоторого формального обновления», кому-то — «исследование мировоззренческого кризиса». Но мне всё-таки кажется, что на подавляющее большинство стихов антологии можно смотреть и проще — «Какие крохотны коровки!» А теоретизирования оставить для «слонов», если таковые будут всё-таки примечены.

Надежда ГОРЛОВА.





Валентина ДОРОЖКИНА

«ПОЛНЫЙ ВОСХИЩЕНИЯ И СВЕТА»

К 85-летию поэта Семёна Милосердова
(1921-1988)

Было бы лучше, если бы слова любви, признательности, восхищения стихами говорились поэту при жизни. К сожалению, чаще всего мы произносим их «в память об ушедшем». Хотя нельзя утверждать, что Семён Милосердов был обделён вниманием читателей и критики. Нет, конечно. У него и почитателей было (и есть) немало. Его стихи не только не забыты, они постоянно звучат на вечерах в школах, в библиотеках, просто в кругу любителей поэзии. Это потому, что написаны они настоящим поэтом, а у настоящего поэта стихи всегда современны.

Семён Семёнович Милосердов родился в посёлке Семёновка Тамбовской губернии 16 февраля 1921 года. Потом семья переехала в Тамбов. Здесь будущий поэт окончил среднюю школу № 5, поступил в Саратовский университет имени Н. Г. Чернышевского, но завершить учёбу не удалось: началась Великая Отечественная война.

Валентина Дорожкина — поэт, критик, литературовед, руководитель литературно-творческого объединения «Тропинка» при областной детской библиотеке.

Автор 17-ти в основном поэтических сборников, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, лауреат нескольких литературных премий.

Много фронтовых дорог прошёл молодой боец. В бою под городом Севском, на Брянщине, он был тяжело ранен, находился на оккупированной территории. Не долечившись, Семён Миросердов уходит в партизанский отряд, который позже влился в действующую армию. На белорусской земле, под Гомелем, Семён Миросердов получил серьёзное ранение и в 23 года стал инвалидом. На фронтовых дорогах, в госпиталях, в минуты озарения он писал стихи, мечтал о литературной деятельности. Дерзнул после демобилизации поступить в Литературный институт имени А. М. Горького. Радости не было конца: осуществилась давняя мечта! Но в 1949 году его незаконно репрессировали, и пришлось ему изведать ещё и горечь сталинских лагерей. Всё это потом нашло отражение в стихах и поэмах Миросердова.

Тема войны занимает значительное место в творчестве поэта. Во сне и наяву ему постоянно слышался «отзвук раскалённого набата»:

*Стоны, грохот, пепел, дым и прах...
Я бегу... Мне слышится комбата
Голос, огрубевший на ветрах.*

*Проплывают выжженные лица,
И разверсты огненные рты...
Сколько ж будут сны такие длиться?
До моей последней, знать, черты.*

Во всём хорошем, с чем сталкивался поэт в мирной жизни, он видел своеобразный памятник павшим:

*Эти мосты и ангары,
Эти дворцы, телебашни,
Эти сады и бульвары —
Памятник павшим.*

Не могла не найти отражения в творчестве поэта и лагерная тема. Его «запретка» продолжалась шесть лет, после чего Семён Миросердов был реабилитирован, вернулся в Тамбов, работал в районной газете. Стихи его постоянно появлялись во всех местных изданиях. Первый сборник стихотворений «Зори степные» увидел свет в Тамбове в 1960 году. А в 1963-м его приняли в Союз писателей. Много сил и времени отдавал Семён Семёнович работе с молодыми литератора-

ми. Он создал в Тамбове литературно-творческое объединение «Радуга», которым руководил до конца своих дней.

Любовь к малой родине, неотделимой от большой, он пронёс через всю жизнь и творчество. Поэт воспел во многих стихах и поэмах природу родного края, его людей, которых любил беззаветно, постоянно восхищался ими.

Главный мотив в творчестве Семёна Милосердова, по его собственному признанию, — мотив «восхищения и света»; это поле утренней чистоты, которой наполнены стихотворные строки, несмотря на поистине трагическую судьбу, выпавшую на долю этого человека. Всё потом нашло отражение в творчестве. И, тем не менее, поэт всегда находился «во власти стихии солнца и стиха».

Вот что особенно выделила литературовед, профессор филологии Л. Полякова в «Слове о друге», предваряющем сборник «Белые колокола» (Воронеж, ЦЧКИ, 1991): «Земля и корень. Это, пожалуй, одна из объёмных метафор поэзии Милосердова. Земля с постоянно звучащей симфонией жизни, земля, прислушивающаяся к скрипу колёс и жужжанию шмеля, к гудению трактора и к пению старинных народных песен. Земля в разноцветии красок и запахов... Природа и человек, природа и работа. Какая-то щемящая русская грусть, какое-то постоянное присутствие ощущения невосполнимости. Но эта печаль не разрушающая, не испепеляющая душу. Она очищает, идёт в корень, насыщает его живительной силой, накапливается в народе, передаётся от поколения к поколению...»

Поэт Милосердов и названия своим книгам давал не модно-абстрактные, а такие, которые свидетельствовали о его любви к России, к людям, к родному Черноземью: «Ржаные венки», «От солнца до ромашки», «Земной простор», «Хлебный ветер», «Присягаю берёзам» и другие. Читаешь и с первых же строк узнаёшь родной Тамбовский край, его людей:

*И свет во все концы,
и хлеб во все концы...
И я иду по рубчатому следу,
Весёлые шофёры-удальцы
— Садись! — кричат. — Куда?
— Навстречу лету.*

Навстречу знакомому, много раз виденному, но ставшему ещё пре-

краснее, идёт читатель, ведомый простыми, но мудрыми словами поэта.

Тема Родины, тема человека-труженика звучит в каждом сборнике Семёна Милосердова. Отчётливо слышится «степей разноголосье», видится луна, которая, «как вызревшая дыня, спит в ржаной соломе на боку». Поэт передаёт запахи и звуки, помогает увидеть красоту и богатство страны и в то же время не позволяет забывать, что «знала Россия и горечь полыни».

О чём бы ни писал поэт — о весне или лете, об уборке урожая или рощах Притамбовья, о зимовщиках или переселенцах, — везде чувствуется «земное притяжение»: не созерцательность людского труда, а участие в нём, не взгляд со стороны, а глубокий интерес ко всему, чем живёт человек. Поэту дороги «косцов запотевшие лица», «облака над головой», потому что «всё это вместе — частица России моей луговой...»

И на войне поэт защищал прежде всего эту бескрайнюю красоту родной земли. Сколько душевной боли автора вобрали в себя строки стихотворения «Зёрна»:

*Я помню: был смертельным грузом
взрыт косогор; как близ реки,
дымясь, на поле кукурузном
светились зёрен угольки.*

*Бой отгремел. Пожар потушен.
И мы ушли за косогор...
А эти зёрна жгли нам души
и обжигают до сих пор.*

Стихи Семёна Милосердова проникнуты ощущением неразрывной связи человека с землёй, на которой он трудится. И оттого, что сам поэт близок к этой земле, что он свой в любом селе, в любой деревне, стихи читаются легко. Они даже не читаются, а льются, как золотое зерно на большом току. И так просторно и светло становится на душе, словно ты сам приобщаешься к добрым делам, которые творит человек. Простота и образность — вот что свойственно поэзии Милосердова. У него не найдёшь такой «сверхоригинальной» рифмы, когда, прочитав написанное, долго думаешь: а что же тут с чем рифмуется? И уж, конечно, нет той избитости, что даёт пищу для мно-

гих пародий. Кажется, поэт вовсе и не подбирает рифму, она сама приходит в стихи, делая их запоминающимися, а главное — заставляющими по-новому, глазами поэта, посмотреть вокруг себя и увидеть, что «березняка светящаяся кромка дыханьем сентября обожжена», услышать, как звучит осенняя тишина, и в этой прозрачности, в этой лёгкости уловить «черты моцартианства, гармонии сияющей красу».

Присягнув когда-то берёзам, Семён Милосердов присягнул всему, что связано с Родиной. Он верен присяге, своей теме — верен труду и труженику. У автора «ненасытные очи: всё им мало земной красы — света августа звёздной ночи, луга, мокрого от росы»; у него «ненасытные руки: не устали сеять и жать, опоясывать лесом яруги, срубы ставить, рычаг держать».

Во вступительной статье к сборнику «Люби меня, люби» (Тамбов, 1991) его составитель — вдова поэта Любовь Горина — писала: «... Читатель прежде всего знал Семёна Семёновича как поэта хлебного поля, воспевающего людей «особой пробы, которых называют «хлеборобы», на чьих плечах и держится земля». Эту тему поэт считал главной для себя... Назначение своей музы он видел в том, чтобы «тихой песней земной» поднять до звёзд «русый колос ржаной», подчеркнуть предопределяющее значение крестьянского труда для Отечества, его судьбоносность.

В неотделимости от земли собственных закатов и рассветов, в признании «пахотной России» черпал С. Милосердов силы для своего творчества... Однако «власть земли» была не единственной темой поэзии С. Милосердова. Его архив богат и разнообразен. Это философские стихи, стихи на исторические темы, размышления о судьбе России, русском национальном характере, особенно ярко проявляющемся в драматические моменты истории страны от татарского ига до сталинизма, поэтические портреты любимых деятелей литературы и искусства от А. Пушкина до П. Антокольского, пародии, эпиграммы, подражания маститым и малоизвестным широкому читателю собратьям по перу. И среди всего названного — строки любви...»

Да, стихов Милосердова о любви читатели знали меньше, чем о земле, о природе, о хлебе. И вот —

*Да пребудешь ты, любовь, со мною,
То, чем жив вовеки человек,
То, что подымает над землёю
В ядерный безумный этот век!*

Конечно, и в любовной лирике Семёна Милосердова присутствуют цветы и деревья, белые метели, черёмуха и сирень — вся наша удивительная природа. Да и как без неё? Без неё — это уже не любовь.

*Опять сквозь белые метели
По январю, по февралю —
Лишь только б лыжи звонко пели —
Приеду. Выдохну: «Люблю...»*

И ещё одно удивительное свойство поэзии Милосердова: в его стихах постоянно присутствует образ малой родины. Поэт, обращаясь к любимой, убеждён, что «на широких улицах Тамбова всё равно вдвоём не разойтись».

Сам жизнелюб и великий труженик, Семён Милосердов любил людей жизнерадостных, добрых, работающих. И в его произведениях — на виду вся жизнь человеческая, суровые подчас, но светлые лица Авдотьи, Ульяны, бабы Гаршихи и, конечно же, Алёнушки, чью нежность и красоту можно сравнить разве с весенним рассветом, на встречу которому, переполненный любовью, идёт он, её Иванушка.

Природа Тамбовского края с берёзами, ржаными колосками, бескрайними ромашковыми полями постоянно присутствует в стихах поэта. Он живёт в ней, разговаривает с цветами и деревьями, как с живыми существами, ощущая «непостижимое слиянье сердцебиенья с тишиной».

*Иду в лицо моим цветам взглянуть.
Они меня встречают, как знаконца.
Вот одуванчик освещает путь,
Как луговое маленькое солнце.*

Поэт мог часами бродить по лесу, вдыхая живительный аромат, наполняющий сердце нежностью, а голову — новыми поэтическими образами. И берёзы, как будто оберегая его вдохновение, шептали кому-то невидимому, предупреждая: «Тише, тише, не хрустите веткой, не мешайте думать...»

Из множества поэтических сборников Семёна Милосердова в Москве вышел только один — «Хлебный ветер» (М., «Современник», 1981). Остальные — в Воронеже и в Тамбове. Да он и не стремился в

столичные издательства. Во-первых, знал, что поэту, живущему в провинции, не просто издать книгу в Москве; во-вторых, что было главным в данной проблеме, — он был необыкновенно скромным: и когда не имел ни одного сборника, и когда их было уже достаточно много. Он не кичился членством в Союзе писателей, хотя, безусловно, гордился этим. Но не меньше, а может, и больше, гордился тем, что был членом Союза журналистов. Работе в газете поэт отдал много лет жизни. И первые его стихи были напечатаны именно в газете.

Не раз слышал Семён Милосердов советы отправляться в Москву, «пробивать» сборники. В таких случаях неизменная ироническая улыбка освещала его лицо. С горчинкой, правда, улыбка. Обычно он молча отмахивался, а как-то взял да и написал стихотворение «Пребываю в тени». В нём он не только ответил на все советы о поездках в столицу, но и ещё раз подчеркнул предназначение поэта, которое не зависит от места жительства:

*Мне внушают: поезжай в столицу!
Пробивай! Резину не тяни!
Мол, в Тамбове к славе не пробиться,
Так и будешь пребывать в тени.*

*Ну а я люблю теней сплетенье,
В жаркий полдень задремавший плёс.
Тени, как пятнистые олени,
На траве — от золотых берёз...*

*Птичья бескорыстная эстрада
Мне была с младенчества сродни.
Разве просит соловей награду,
Тоже пребывающий в тени?*

*Может быть, не всем мой голос слышен,
Но без усилителя пою.
С каждым годом пребываю ближе
К людям и цветам в родном краю.*

После кончины Семёна Милосердова — 4 декабря 1988 года — вышли четыре сборника стихов и поэм, составленные вдовой поэта. Она же подготовила его стихи для публикации в журналах «Наш со-

временник», «Подъём». Её воспоминания о Семёне Семёновиче полны светлой памяти и великой любви к поэту и человеку. Ибо, как говорила Марина Цветаева, «любовь — это действие». А Любовь Михайловна Горина действовала так, как, наверное, ни одна комиссия по литературному наследию. Результат? Сборники «Белые колокола» (Воронеж, ЦЧКИ, 1991), «Люби меня, люби» (Тамбов, 1991), «России чистая душа» (Тамбов, 1993), «Нюансы» (Эпиграммы, пародии, подражания; Тамбов, 2001).

Именно в книге «России чистая душа», самой объёмной из всех изданных при жизни поэта и посмертно, раскрылась ещё одна грань его творчества: с огромной внутренней силой, но без надрыва зазвучала тема крестного пути, по которому пришлось пройти Семёну Милосердову, — лагерная тема:

*Как же так случилось?
На Тверском бульваре
я, литинститута
молодой студент,
плакал от восторга,
презирал Бухарина,
а теперь — враждебный
сам вот элемент.*

Пять стихотворений из цикла «Запретка» — «Эй вы, сталинские соколы...», «Вот ещё один ледоход», «Голоса», «Песня», «Повезло» — вошли в книгу «Поэзия узников ГУЛАГа», выпущенную в 2005 году в Москве в издательстве «Материк» при поддержке Международного фонда «Демократия» в серии «Россия. XX век». Содержание их — отражение той обстановки, в которой находились лагерники. Это крик невинной души, насильно втянутой в воронку страшных лет массовых репрессий. Но в стихах была и надежда:

*Вот закончится этот год,
вот ещё один ледоход,
потерпи, браток, подожди:
разберутся во всём вожди...*

Вожди «разбирались» слишком долго: сколько жизней пропало, сколько загублено талантов! Но, слава Богу, есть память сердца, есть

подвижники, воздававшие (в частности, этим изданием) должное мученикам ГУЛАГа.

Но, «споткнувшись о камень беды», как определил С. Милосердов перипетии своей судьбы, он не потерял равновесия, человеческого достоинства.

*Душа оттаяла, запела,
Блеснула и моя звезда...
А белый свет – он, точно, белый,
Хоть был и чёрным иногда.*

Да, много чёрного было в жизни Семёна Милосердова. Он перенёс голод и холод, войну и колючую проволоку. Но ни окопы, ни окрики часовых, ни грубость и мерзость бараков не ожесточили его, не вытравили в нём нежную душу лирика. Она светится в каждой его строке, полная любви и желания взаимности. Родниковая свежесть стихов пробуждает благородные чувства, желание стать выше, лучше, значительнее, любить и быть любимым.

*Всё ж на грани смерти и запрета,
Проверяя душу на разрыв,
Полный восхищения и света,
Я пронёс о Родине мотив.*

Волшебством веет от лирики поэта, его стихи завораживают, и неохотно выходишь из этого мира — берёзового, грачиного, листопадно-го, пронизанного светом нежной, ранимой, вечно влюбленной души. Он порой и сам удивлялся, откуда появлялось такое — вроде бы ничего волшебного, а душа трепещет.

*Ты говоришь: бессонница...
Всё бросить и забыть...
Но разве можно солнце
В самих себе гасить?*

Могут ли такие стихи оставить человека равнодушным? Конечно, нет. Оттого и будут они жить вечно, как и их автор — поэт Семён Милосердов.

Лариса ПОЛЯКОВА

О ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА МАКАРОВА

К 60-летию поэта



В современных условиях всеобщего апокалипсиса, социально-нравственного тупика жизнелюбие и жизнестойкость лирического героя нелегко завоевываются. Они защищаются как самая неприступная крепость: если ее сдать, погибнешь. И здесь значительно творчество Александра Макарова, члена Союза писателей России, автора многочисленных сборников — «Красный мячик» (1983), «Излучина» (1986), «Светлый час» (1988), «Воздушный корабль» (1996), «Небесный шум» (2001), «Избранное» (2002) и других, лауреата премий журналов «Подъем» и «Наш современник». Поэт имеет не только школу Литературного института им. А. М. Горького, но и всероссийскую известность.

Сегодня в разных контекстах с разными подтекстами, не всегда положительными, мы говорим о всевозможных «стилях»: стиле в искусстве, в одежде, в быту, во всем нашем существовании. Все настойчивее утверждается единый стиль вхождения молодых поэтов в литературу — с шумом, через активную силу наведения контактов, использование литературных «связей» и знакомств.

Лариса Полякова — критик, литературовед; доктор филологических наук. Возглавляет кафедру истории русской литературы ТГУ им. Г. Р. Державина.

Лауреат Всероссийской премии «Преображение России» им. С. Н. Сергеева-Ценского, областных премий — им. А. К. Воронского и Рахманиновской. Член Союза писателей России.

Внедряется и свой стиль существования молодых в литературе. Без всякого желания, а иногда и без способностей, разобраться в сложной современности, в задачах, стоящих перед обществом и перед литературой, без готовности послужить Отечеству (а ведь это служение — одна из сильнейших артерий отечественной классики) молодой литератор, научившийся неплохо рифмовать и даже возводить интересные ассоциативные образные строения, сам, единолично начинает распоряжаться своим жизненным капиталом, в который многое вложено государством, сам выносит своей судьбе приговор — быть писателем. Еще не став членом Союза писателей, он уходит, так сказать, на профессиональное положение, начинает «гнать строчки».

Александр Макаров не таков.

Мне о поэзии тамбовского поэта уже приходилось писать. Повторю здесь некоторые оценки из литературного портрета А. Макарова, который в свое время я писала для альманаха «Поэзия» по просьбе замечательного русского поэта Н. К. Старшинова, много сделавшего для становления бесспорно яркого таланта поэта Тамбовского края.

*Половодье. Наша речка,
смяв крутые берега,
словно лошадь без уздечки,
убежала на луга.
И от вольности веселой,
надвигаясь на кусты,
закачались, словно седла,
набок сбитые мосты.
В комьях грязи, в клочьях пены,
разбивая глыбы льда,
речка вырвалась из плена,
не накинуть поводка!*

Перо и топор (много лет Макаров работает плотником в деревне) — два инструмента, которыми одинаково успешно утверждает он себя в жизни, одинаково успешно создает в себе личность гражданина, труженика. Ему дорог рабочий коллектив, своеобразная школа жизни и поэзии.

*Глаголы изучаю: строить – жить...
Хочу я выразить, не ворожить,*

*(На ветке жизнь антоновкою сочной).
В работе жаркой горе забывать,
Рубить углы и гвозди забывать.
Удачу почитать наукой точной.
Чему меня научишь, бригадир?
Какие ты глаголы проходил,
Тогда, давно, лет, скажем, сорок с лишним,
Когда ногтями рыл себе окоп,
Который был похож на тесный гроб?..
Скажи. Что слышишь ты – ведь мы не слышим...*

Хорошо помню, как в Тамбовскую областную писательскую организацию Макаров пришел с рукописью сборника стихов, удививших необычной для неизвестного автора зрелостью, поэтической культурой, за которой угадывалась нравственная, социальная, гражданская культура автора. Макаров много раз публиковался на страницах центральной и местной печати, был участником Всесоюзных совещаний молодых литераторов. На наших глазах сложилась яркая, самобытная, самородная поэтическая судьба.

Поэт явно принадлежит к лучшим представителям своего поколения.

Радость — вот точное определение того состояния, которое овладевает тобой с первых минут чтения стихов Александра Макарова. Почему радость, а не удивление или, скажем, восторг, ведь для них в поэзии тамбовского автора есть все: неожиданная образность, меткость и точность зрения, одухотворенность обычных и привычных жизненных ситуаций? Воздействие Макарова на читателя основательное, долговременное, спокойно сосредоточенное, располагающее к длительным переживаниям и раздумьям. Его поэзия входит в тебя, как говорит сам поэт, «расходится тихо в душе по углам», начинает активно действовать в твоём внутреннем мире, поселяется в нём навсегда, делает тебя причастным к большим переживаниям и мыслям, рожденным современностью, великой и тревожной.

То ли дети, то ли взрослые (не имеет значения) поймали летучую мышь, «посадили в стеклянную банку, словно тайную смутную мысль» («Летучая мышь»):

*Как легко прикасались мы к тайне.
И, конечно, есть наша вина*

*В том, что ночью в цепи мироздания
Одного не хватило звена.*

Мотив цельности, слитности, нерасторжимости нашего бытия — один из главных и объемных в творчестве поэта. Вопросы мироздания сменяются самыми земными мыслями о связи поколений, прошлого и настоящего, о связи человека с человеком, человека и дела, природы и человека — «не цепь звенящая — глухие звенья». Самое крепкое звено — поэт, его лирический герой, раскрывающий себя в стихах Макарова с предельной и беспощадной искренностью. Поэт за нарушенные союзы, за несовершенство жизни берет вину на себя и спешит сказать о красоте земли, активно ищет контакты с душой и сердцем читателя, вселяет в них веру и надежду и главное — чувство неподдельной любви к отчему краю. В нем, в родном крае, Макаров видит и источник собственного творческого вдохновения, и силу притяжения, объединяющую людей.

В стихотворении «Полет» одухотворена идея неизбежности наказания, неотвратимости его за попытку из «домашнего» превратиться в «дикого».

*Летели дикие над пашинями.
Бежали по земле домашние.
И вдруг сородичам на страх
Поднялся над землей гусак.
Он пролетел одно мгновение.
Его полет — его падение.
Когда он грохнулся о грунт,
Земля ударилась о грудь...*

Не гусь ударился о землю, а земля о его грудь, лишённую прочной земной привязанности. Земле больно, когда «домашние» отрываются от нее, покидают. Прямая авторская оценка не скрыта, она намечена в столкновении стихотворной лексики: гусь «грохнулся», земля «ударилась». Мотив земного притяжения — мотив глубоко патриотичный. И он принципиально важен для самого поэта-аборигена, одного из талантливых литераторов, кто остался жить на земле.

В поэзии Александра Макарова есть распространенный для современной литературы образ малой родины. Когда поэт говорит «вся земля», мы понимаем, что речь идет прежде всего о крае, где он родился и живет по сей день:

*К заре в родных полях
Притронувшись дыханьем,
Я понял: вся земля
Наполнена стихами.*

(«А где живут стихи...»)

И все-таки малая родина — одновременно и окно в огромный мир, и звено в этом мире. «Ладонь прижав к земле, я слушаю движение времен и поездов, движенья звездных сфер», «ладонь прижав к земле единственного дома, я слушаю шаги родившегося дня» — так поэт по пульсу и сердцебиению родного края узнает, чувствует состояние родины, вселенной, истории и современности. Весь огромный мир перекрещивается во внутреннем мире автора. Исследование собственного «я» становится путем к постижению великих человеческих тайн и главных нравственных заповедей. Одна из таких заповедей, чутко и бережно осваиваемая Макаровым, — память, память — наказ.

Через все стихи, по крайней мере лучшие, в творчестве Макарова проходит тема послевоенного детства. Память поэта хранит картины, жуткие в своих контрастах. Широкое хлебное поле, залитое солнцем, васильки приветливо улыбаются голубыми глазами, жаворонки поют то ли грустную, то ли веселую свою песню, в тихой избушке с двумя голубыми окошками мама сидит за прялкой и рассказывает сказку:

*Слово за словом. И слово
Зернышком в сердце ляжет.
В памяти колосом зрелым,
Голосом звонким всходить.
Бег колеса — продолжайся,
И не кончайся, пряжа,
Будь подлиннее, подольше
Не обрывайся нить...*

(«Нить»)

А из одной деревни в соседнюю долго идут голодные пары: потевявшие на фронте глаза, руки, ноги взрослые в сопровождении прежде времени постаревших детей. Эти картины никогда не станут прошлым, они стали историей родины, страницами родиноведения как самой нестареющей науки. В поисках современного глагола поэт обращается к этим страницам: «Сон иль чудесное действо: послевоен-

ное детство, Мальчик стоит под окном. Жизнь подает ему небо. Солнце. А хочется хлеба! Все остальное потом» («Изба»). «Глаголы: строить — жить во имя мира» — это наказ детства, это требование современности.

Послевоенное детство и — шире — Великая Отечественная война для Макарова — не только тема или лейтмотив, но и угол поэтического зрения, та сторожевая вышка творчества, с которой далеко видно во все стороны света, как на заставе русских богатырей. Своеобразная пространственность — поэтическое свойство стихов Макарова. Поэт живописует перспективу, едва различимые горизонты, но все-таки с четко обозначенными границами: «В просторе синеющем конь в поводу, Мальчишка, увидевший в небе звезду. Высокая птица, как память в бреду, Упавшая с высоковольтного провода» («Спасибо за то, что живешь...»), «Из сердца ввысь поднимаются / Зеленые дерева» («Здравствуй, моя любимая»), «Летит, крутясь, над миром грозным, над миром пепельным и росным, / Зеленый лист над головой. / О, время, сохрани для сына / Зеленый свет в пространстве синем» («Непримечательный вязок»). Пространство, даль поэта — с преобладанием светлых красок. На этом фоне красный мячик, за которым бежит мальчик из послевоенной разрухи, приобретает еще более яркий цвет, цвет солнца на голубом небосклоне, становясь символом добра и тепла и озаряя своим светом все творчество автора. Думаю, очень удачно первый сборник стихов Макарова назван был по одному-единственному стихотворению — «Красный мячик».

Мотив светлой дали, светлого пространства имеет и исторический ракурс. Поэт-лирик значительно раздвигает границы своей поэзии, вводя в нее исторические, историко-патриотические реалии. В этом отношении интересны не только лирические стихотворения, но и особенно поэма «Отчий дом», развивающая ведущие лирические мотивы творчества и сообщающая им эпический разворот. «Победою рожденный поэт» говорит в поэме от имени народа. И он имеет на это право: ни в чем и ни разу не посрамил звания сына своего Отечества. Лирический сказ о России Александр Макаров начинает с событий Великой Отечественной, одухотворяет и наполняет жизненной силой в равной степени и поле, и молчание, и слезу, все, что связано с войной. Кроме самой войны.

*Поля черны, а выси холодны.
Идет молчанье, губы сжав до боли.
И — капелька за каплей — капли соли*

*Летят в пустые борозды войны.
Мы это помнить каждый день должны,
Как поле хлеба стало полем боя...
Мы все на этом поле рождены.*

Макаров, идущий в своем творчестве от земли, ею взлелеянный, воспринявший от нее любовь к простору и дали, создает такие поэтические полотна, на которых отдельный человек не только не теряется, не уменьшается в силе, наоборот, еще слышнее его голос, голос веков: «мечи перековать бы на орала», голос труженика миролюбивого оратая.

«По голосам колосья различаю», «Весь на миру. И миру отвечаю» — вот какая сила осознания своей причастности ко всему, что делается на земле, сила ответственности! Поэма «Отчий дом» написана в форме венка сонетов и потому звучит особенно торжественно и вдохновенно. Она — образец удачного использования венка сонетов в освещении исторической темы. Явление не распространенное в истории литературы. Ведущая мелодия, лейтмотив поэмы — образ русского хлебного поля, воплощенный в сонетную форму, получает лирически-державное звучание. Поле — это и малая родина, и поле жизни, и причал для долго странствующего корабля, и национальные корни, и прочные фундаментальные патриотические основания. Обращаясь к погибшим, поэт докладывает, что их корни, их зерна дали хорошие всходы. От имени своего поколения говорит:

*Мы все на этом поле рождены.
Мы стали колосками. И корнями,
Как пальцами, разламываем камни.
Светлы. И радостны. И влюблены.
Мы поднимаемся из тишины
Глубокой борозды
Встать рядом с вами
Под небом с ястребиными кругами,
Под песней соловьиной глубины...*

Поэма Макарова как талантливая скульптура героической России с ее героическими отцами и сыновьями, России, прошедшей не только через татарское иго, но и сквозь голубую свою восемнадцатую весну, весну человечества, открывшую эру нового человека, способного

ЮБИЛЕИ

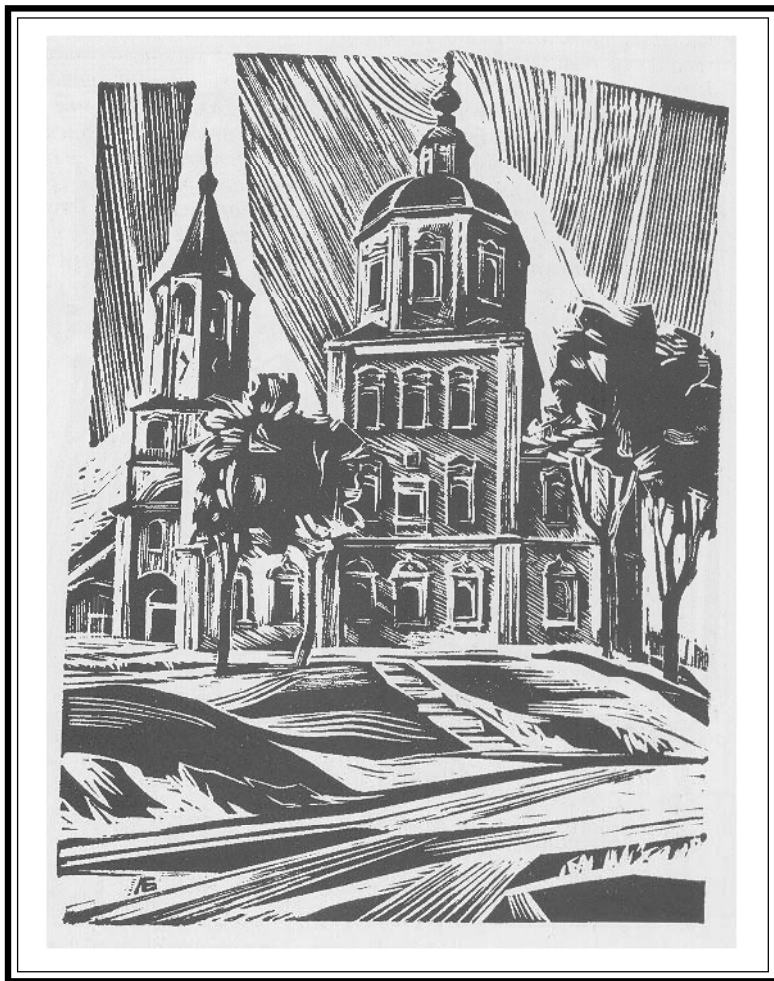
творить чудеса вот так, как бригадир, один из героев поэмы:

*Рукой махнет,
И за плечами солнце
Взойдет, звеня, как щит.
И вешний мир,
Как сказочная птица встрепенется.*

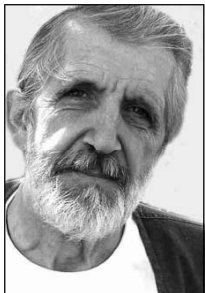
Активен и жизнестоек лирический герой А. Макарова и сам поэт с его пониманием роли и места поэтического искусства в современном мире, с ощущением себя только в единстве с историей и сегодняшним днем родины. Поэт и его персонажи, весь мир стихов Макарова — та почва, на которой вырастают колоски — сыны Отечества, насыщающие русскую землю здоровыми, крепкими зернами, прорастающие в новых всходах, преображающих мир. Такой человек — плоть от плоти своего «отчего дома». Он, когда надо, добровольно ложится в землю, чтобы прорасти новым стеблем.

Бесспорно, в современной литературе работает талантливый поэт, выращенный доброй трудолюбивой деревенской средой и в лучших национальных традициях. На современном поэтическом Парнасе моего края он, как тягловый конь, который определяет не только направление движения, но и возможности поэтического груза края.





Тамбов. Церковь Покрова на Цне (1763).
Линогравюра Б. Левшина из книги А. Горелова и Ю. Шукина
«Шли годы...» (Тамбов, 2002).



Евгений ПИСАРЕВ

УСОМНИВШИЙСЯ АНДРЕЙ

(А. Платонов в Тамбове)

Как писатель Андрей Платонов состоялся уже к концу 1920-х годов, а недолгое пребывание его в Тамбове стало для писателя своего рода «болдинской осенью». Но вскоре он был закрыт для читателей, хотя в ту пору даже среди официально почитаемых прозаиков не было столь истового носителя веры в справедливый социализм, каким был А. Платонов.

Идеологическая пандемия, охватившая страну, заразила его эмоционально, поэтому болезнь протекала бурно, с осложнениями. Но в конце концов выработала в нем иммунитет к утопической идее всеобщего равенства в условиях «военного коммунизма», что наиболее отчетливо проявилось в опубликованном в 1929 году рассказе «Усомнившийся Макар».

Евгений Писарев — журналист, публицист, прозаик, поэт, критик. Публиковался в областных и центральных газетах, в журналах «Студенческий меридиан», «Клубы», «Библиотекарь», коллективных сборниках. Автор трёх книг.

Работал в областных газетах «Комсомольское знамя», «Тамбовская правда» («Тамбовская жизнь»), «Тамбовское время». В настоящее время — собственный корреспондент «Российской газеты».

Но до конца эту идею, сам того не вполне сознавая, «усомнившийся» А. Платонов развенчал в романах, увидевших свет лишь накануне распада лагеря социализма. В них Платонов-художник, как и положено праведнику, мучительно освобождался от социальных иллюзий. Он наделял ими своих литературных героев, а в романе «Чевенгур» смоделировал мир добра и справедливости по тем принципам, которые сам исповедовал в юные годы. В отличие от пушкинского Сальери, проверившего алгеброй гармонию, герои А. Платонова проверяли гармонией добра алгебру социализма. И всякий раз разочаровывались результатами проверки.

Первое открытие (приоткрытие, если выразиться точнее) А. Платонова началось с конца 50-х годов, когда массовыми тиражами начали выходить его книги.

Второе пришествие А. Платонова произошло в конце 80-х годов и поставило его в ряд великих писателей, определивших трагическое лицо XX века. И есть основания полагать, что духовное рождение автора «Города Градова», «Чевенгура», «Котлована» состоялось в Тамбове...

В записных книжках, датированных 1931—1933 годами, А. Платонов оставил поразительную мысль. Страшно крамольную для того времени, но азбучную для дня сегодняшнего, особенно для России: *«Чтобы истреблять целые страны, не нужно воевать, нужно лишь так бояться соседей, так строить воен<ную> промышленность, так третировать население, так работать на военные запасы, что население все погибнет от экономически безрезультатного труда, а горы продуктов, одежды, машин и снарядов останутся на месте человечества, вместо могильного холма и памятника».*

Художественно эту мысль писатель развил в антифашистском рассказе «Мусорный ветер». Написанный в 1934 году, он был опубликован только в конце 60-х годов. В период «строительства военной промышленности и третирования населения коллективизацией» этот рассказ объективно был идеологически вреден для нашей страны — за полуфантастическим сюжетом, развивающимся в фашистской Германии, легко угадывались советские реалии, лезли навязчивые аналогии. Две системы неизбежно должны были или броситься в объятия друг друга, или столкнуться, чтобы погибнуть. Случилось, как известно, второе.

Но Клио — муза истории — дева игривая, она способна чудить и у адовых врат. Советская система идеологически оказалась более изощ-

ренной, чем германский национал-социализм. И выжила для того, чтобы еще раз подтвердить мысль А. Платонова, доверенную лишь записной книжке. Сегодня её справедливость осознают все, кто способен к пониманию простых вещей. Могущественный с виду Советский Союз в одночасье рухнул не по чьей-то злой воле, а под грузом «экономически безрезультатного труда», погиб в изнурительной классово-вой борьбе за победу коммунизма во всем мире, оставив после себя горы оружия и гигантские оборонные предприятия. Не потому ли наша отечественная экономика и поныне напоминает средневекового рыцаря, который так заковал себя в латы, что лишился возможности двигаться? Согласитесь, трудно пахать в бронезилете...

Таких, как А. Платонов, мудрые правители делали своими советниками, хитрые и расчетливые — прикармливали, а правители жестокие — уничтожали. Но нет пророка в своем Отечестве. Могущественный правитель, при котором жил А. Платонов, не отличался ни мудростью, ни расчетливостью, а его личная жестокость распространялась только на ближайшее окружение — свой покорный и терпеливый народ. Сталин любил издали и державно, а наказывал опосредованно. И тот отвечал ему взаимностью, даже когда был в массовом порядке распахан по островам ГУЛАГа.

Писателя эта участь минула. На фоне сатанинских плясок он воспринимался как юродивый и в советской системе, по выражению одного из персонажей повести «Город Градов», оказался «человеком сверхштатным». Хотя его удостоил своим вниманием самый главный «художественный критик» страны — на бедняцкой хронике А. Платонова «Впрок», напечатанной в 1931 году в журнале «Красная новь», Сталин начертал краткую резолюцию: «Сволочь».

У организатора сплошной коллективизации были серьезные основания для такого сурового определения — «Впрок» оказалось «вещью посильнее, чем «“Фауст” у Гете». Писатель, задавшийся целью художественно осмыслить процесс создания колхозов, сделал это блистательно, совсем не так, как автор «Поднятой целины». А. Платонову не приходилось, как М. Шолохову, наступать на горло собственной песни, считая такое поведение исторически оправданным. А. Платонов заблуждался, обольщался ложными идеями, но никогда не обманывал себя сознательно...

Один из персонажей хроники «Впрок», «товарищ Упоев, главарь района сплошной коллективизации», «не верил ни кулаку, ни собы-

тию — он был неудержим в своей активности и ежедневно тратил тело для революции».

Фигура Упоева, несмотря на ее неповторимую платоновскую условность, граничащую с карикатурностью, оказалась удивительно точной для периода коллективизации, что, скорее всего, и вызвало гнев правителя. Диктаторы всегда так реагируют, когда слышат неприятную для себя правду. И начинают крушить зеркала, отражающие невидимую сущность явлений, скрытую до поры за историческим горизонтом.

«Семья Упоева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали: “Упоев, обратись на свой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной середнячкой”, — то Упоев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир: “Вот мои жена, отцы, дети и матери — нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не оставляйте хода революционности! Вперед — в социализм!”

И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Упоева, молчали вокруг этого полугололого, еле живого от своей идеи человека».

Однажды Упоев, «затосковав о Ленине», явился в Кремль.

«Постепенно Упоева допустили к Владимиру Ильичу. Маленький человек сидел за письменным столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, я буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упоев, увидев Ленина, закричал зубами от радости и, не сдерживаясь, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упоев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и паппорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!».

Вождь мирового пролетариата дозволил Упоеву свершить комму-

низм в отдельно взятой местности и даже снарядил его в дорогу. А Уповев пообещал Ленину, что «через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм».

А когда Ленин умер, «главарь района сплошной коллективизации» чуть не повесился с тоски.

«Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Уповева, веско возразил:

— Ты действительно — сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого же он старался?»

И в самом деле, для кого старался Ленин? Для таких, как Уповев? Или для перехитрившего самого себя председателя колхоза «Без кулака» Кучума? Или для миллионов крестьян, раздавленных коллективизацией?

Ответ на эти вопросы дала история, в которой А. Платонов оказался пророком, а сволочью — автор резолюции на бедняцкой хронике «Впрок».

Вместе с этим писатель с интересом и сочувствием относится к созданию колхозов, что видно из той же хроники. Но его постоянно «подводила» искренность, «незамысленность» писательского взгляда и неповторимый платоновский художественный метод осмысления действительности. Он фиксирует мир таким, каким увидел его при первом приближении.

О своем «сокровенном человеке», герое одноименной повести, А. Платонов заявляет с первых же строк: *«Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки»*. Но, несмотря на такую сомнительную характеристику, Фома Пухов, пожалуй, самый любимый человеческий тип писателя. Сокровенный человек — это человек естественный. Если коммунист — это умный, научный человек, а буржуй — исторический дурак, то Фома Пухов, по его же собственному определению, «природный дурак». Вроде фольклорного Ивана-дурака, который на самом деле таковым только прикидывается. Какой с дурака спрос. Поэтому он занимается тем, к чему у него лежит душа, и совсем не похож на «нормализованного человека», которого будущий писатель, вдохновленный сомнительными идеями русского философа Николая Федорова, славил в юношеских статьях.

Читатель всегда способен отличить иронию от пафоса, сатиру от эпоса, байку от притчи. Всегда, если читает книгу любого другого

писателя, но не А. Платонова. В его произведениях все жанры перемешаны на уровне слова, интонации. Его герои говорят вычурно по форме, но удивительно точно по смыслу, отчего постоянно вносят в ткань повествования элемент пародийности. Поначалу иррациональный с виду, но по существу удивительно земной мир чувствований его героев сбивает с толку здравомыслящего читателя, и он задается школьным риторическим вопросом: «Что автор хотел сказать своим произведением?» И не найдя ответа или откладывает книгу, или доверяется повествованию с доверчивостью читателя, не читавшего прежде ничего, кроме Библии.

Если классическая русская литература вышла из гоголевской «Шинели», то А. Платонов явился из ничего — он, как булгаковский Воланд, соткался из воздуха, явился не званным, но призванным. И потому не вписался в официальную литературу своего времени. Тогдашний режим писателя не уничтожил только потому, что его забыли, как чеховского Фирса. Зато режим отыгрался на его сыне Платоне — пятнадцатилетнего подростка обвинили в подготовке убийства Сталина и сослали. Он умер в двадцатилетнем возрасте, и этой трагедии было достаточно, чтобы заставить писателя уйти во внутреннюю эмиграцию.

Болезнью «реформаторства» мира А. Платонов переболел быстро, но болезнь протекала бурно. Когда читаешь его статьи 20-х годов, то не верится, что их написал автор «Котлована», «Чевенгура», «Ювенильного моря». Такие метаморфозы известны в мировой литературе. И они скорее правило, чем исключение. Но переворот в мировоззрении А. Платонова был настолько поразителен, что поставил в тупик не одного исследователя его творчества. И произошел переворот в Тамбове, где писатель в условиях одиночества и безысходности подверг себя жесткому самоанализу и в результате окончательно разуверился в утопическом идеале...

В Тамбов А. Платонов приехал в конце 1926 года, о чем свидетельствует его рапорт губернскому начальству, датированный 8 декабря: *«Доношу, что сего числа прибыл в Тамбовское губземуправление и вступил в исполнение обязанностей губернского мелиоратора — о чем прошу Вашего распоряжения издать соответствующий приказ. Зачислить меня на жалованье прошу с 5/XII т. г. — дня откомандирования из НКЗема. Время с 5 по 7-е декабря ушло на приглашение персонала в Москве и ликвидацию домашних дел».*

В конце января следующего года А. Платонов отправляется в ко-

мандировку по губернии, о чем сообщает заведующему земельным управлением в докладной записке: *«Прошу Вашего разрешения на недельную командировку в Борисоглебский, Козловский и Кирсановский уезды — для выяснения степени подготовленности уездов к строительной кампании 1927 г., проверки действительности и целесообразности наших новых инструкций, осмотра работ, проверки технического персонала, выяснения и разрешения на месте всех недоумений и противоречий и т. п.*

Непрактиковавшиеся до сих пор выезды и живая связь руководителей работ в уезды и деревни имели пагубное влияние на работы... в этом году выезды губернских специалистов по мелиорации должны иметь место».

12 февраля в коротком рапорте он сообщает: *«Доношу, что сего числа я прибыл из командировки по Козловскому и Кирсановскому уездам и вступил в исполнение своих обязанностей».*

За неизменным для всех времен и народов бюрократическим стилем невозможно увидеть писателя, который станет выдающимся явлением литературы XX века. Но таковы особенности литературного творчества. За долговыми расписками А. Пушкина тоже не угадывается автор «Евгения Онегина».

Но есть и другие, очеловеченные документы — письма жене. Буквально в эти же дни он пишет ей в Москву: *«Я одичал и наслаждаюсь одними своими отвлеченными мыслями. Поездка моя по уездам была тяжела... Жизнь тяжелее, чем можно выдумать, теплая крошка моя. Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и проза. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье...»*

Какие грустные вещи увидел писатель в захолустных селах Кирсановского уезда, догадаться нетрудно. Прошло всего лишь семь лет с той поры, как там полыхала крестьянская война под предводительством Александра Антонова. Красные продотряды Мамаем прошли по селам, выгребая последний хлеб. И легендарное русское терпение лопнуло — крестьяне взяли за вилы. В ответ рабоче-крестьянская власть «во имя социальной справедливости» травила их боевыми газами, расстреливала семьями, ставила к стенке «за хранение бандитского седла». За торжество идеи выжигались целые села, на подавление недовольства были брошены 35-тысячные части регулярной Красной Армии, авиация, бронетехника.

Повстанцы А. Антонова тоже не церемонились с красноармейцами, но силы были неравными. Село было обескровлено, поэтому «красное колесо» последующей коллективизации прошло по хребту тамбовского крестьянства без пробуксовки... Как раз накануне этих событий и побывал А. Платонов в тамбовском захолустье.

Гнетущее впечатление произвел на писателя и сам губернский Тамбов, о чем он писал жене сразу же по приезде на новое место службы: *«...С утра, как приехал, до вечера познакомился с тамбовским начальством. Был на конференции специалистов, а вечером на сессии губисполкома. Обстановка для работы кошмарная. Склока и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи. Меня тут уже ждали и великолепно знают и начинают немножко ковырять. (Получает-де “огромную” ставку, московская “знаменитость”!) На это один местный коммунист заявил, что Советская власть ничего не пожалеет для хорошей головы...»*

Я не преувеличиваю. Те, кто меня здесь поддерживают и знают, собираются уезжать из Тамбова... Мелиоративный штат распуцен, есть форменные кретины и доносчики. Хорошие специалисты беспомощны и задерганы. От меня ждут чудес!»

«...Я с трудом нашел себе новое жилище (там старуха не топилась совсем), несмотря на то что квартир и комнат в Тамбове много. Принимают за большевика и чего-то боятся. Город обывательский, типичная провинция, полная божьих старушек.

Мне очень скучно. Единственное утешение для меня — это писать тебе письма и снова дорабатывать “Эфирный тракт”...

Но я знаю, что все, что есть хорошего и бесценного (литература, любовь, искренняя идея), все это вырастает на основании страдания и одиночества. Поэтому я не роюсь на свою комнату — тюремную камеру — и на душевную безотрадность...

Иногда мне кажется, что у меня нет общественного будущего, а есть будущее, ценное только для меня одного. И все же бессмысленно тяжело — нет никаких горизонтов, одна сухая трудная работа, длинный и глухой Тамбов».

Мрачное настроение А. Платонова усугубляется разлукой с женой и маленьким сыном. Но тем не менее (такова природа литературного творчества) именно в Тамбове писатель пережил свой «болдинский» период. В атмосфере отчужденности он освободился от иллюзий, понял, что «жизнь тяжелее, чем можно выдумать». Здесь он написал знаковые «Епифанские шлюзы», начал работать над фантастической

повестью «Эфирный тракт», в Тамбове складывались «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера», рассказ «Фро». И при этом следует учесть, что в Тамбове писатель пробыл меньше четырех месяцев!

Весной 1927 года А. Платонов покидает провинцию.

«Я окончательно и скоро навсегда уезжаю из Тамбова... Здесь дошло до того, что мне делают прямые угрозы...»

В Москве он недолго служит в Наркомате земледелия и вскоре переходит на положение профессионального литератора. В этом же году в издательстве «Молодая гвардия» выходит его сборник «Епифанские шлюзы», куда войдут и все его вещи, написанные в Тамбове. Писатель включил в сборник и сатирическую (как её определили литературоведы) повесть «Город Градов»...

Даже среди дотошных читателей бытует мнение, что «Город Градов» списан с Тамбова. Косвенно это подтверждают письма писателя жене, в которых реальный Тамбов многим напоминает придуманный Градов, да и краеведческих совпадений в тексте немало.

Исторических: *«...революция шла сюда пешим шагом. Древлеотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась Советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени».*

Географических: *«Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.»*

Этнографических: *«...три раза в год — на Троицу, в Николин день и на Крещение — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.»*

Социальных: *«Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный».*

Экономических: *«...сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило».*

Сельскохозяйственных: *«Самый худший враг порядка и гармонии — это природа. Всегда с ней что-нибудь случается... А что, если учредить для природы судебную власть и карать её за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть,*

а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!»

Цитировать повесть можно бесконечно, узнавая в каждом абзаце Тамбов. Но повесть написана в середине 1926 года — до приезда писателя в Тамбов. Вместе с этим известно, что перед публикацией автор подверг её переработке, освежив её тамбовскими впечатлениями.

Литературоведы, как уже говорилось, называют «Город Градов» сатирическим произведением. Но так ли это?

Одно из посланных из Тамбова писем писатель заканчивает энергичной фразой, не свойственной общему тону послания: *«Попробую поставить работу на здоровые ясные основания, поведу все каменной рукой и без всякой пощады»*.

С такой же установкой едет на новое место службы и герой повести: *«В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — вращать в губернские дела и освежить их здоровым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестью перед законом и административным инстинктом, за что был одобрен высоким госорганом и послан на высокий пост»*.

В Градове Шмаков — эта «живая шпала под рельсами в социализм» — «тайно ведет труд». Называется рукопись просто, но значительно — «Записки государственного человека».

«Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своём сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть неременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей...

Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда...»

К этому «дется некуда» мы еще вернемся, ибо здесь кроется корень шмаковского (и не только шмаковского!) понимания принципа нравственного переустройства общества. Но прежде обратимся к од-

ной из ранних статей А. Платонова, впервые напечатанной в Воронеже во втором номере журнала «Искусство и театр» за 1922 год. Тогда молодой литератор искренне верил, что технический прогресс может стать основой нравственного обновления общества, и с горячностью неопита изложил свою программу. Небольшая статья — всего две страницы — называется «О культуре запряженного света и познательно электричества». Вот несколько строк из нее:

«...Высшая форма работы уже не движение человека, даже не движение его мысли (все это будет перейдено), а его отречение от мира, ибо реконструированный мир по отношению к человеку дисциплинируется автоматически. Человеку уже нечего будет тут делать, для него наступит вечное воскресенье...

Человечество родило дьявола — производительные силы, и эти бесы так разрослись и размножились, что начали истреблять само человечество. А мы их хотим подчинить, смирить, урегулировать, использовать на 100 %, вот в чем смысл социальной революции и точное понятие пролетарской культуры. Но мы хотим не только этого, а всё видимое и невидимое сделать дисциплинированной, отрегулированной производительной силой — в этом суть коммунистической культуры».

Эти строки Шмаков мог бы без изъятий включить в свои «Записки государственного человека». Но сам А. Платонов в пору написания «Города Градова» уже, наверное, понимал, что его тексты про «запряженный свет» на фоне текущего момента звучат пародийно. «Городом Градовым» писатель сводил счеты с собой прежним, освободился от иллюзий. И не случайно, как только стала рушиться технократическая утопия самого А. Платонова, он вдруг обнаруживает в себе неожиданное знание «кухни» государственного делопроизводства.

В центре повести — пирушка по поводу двадцатипятилетия служебной деятельности на государственном поприще главы градовского учреждения Степана Ермиловича Бормотова. Дата знаменательная, если учесть, что за это время страна пережила три революции. На управленческой «кухне» полностью сменились «повара», место шеф-повара уже занял любитель острых блюд — смертельно острых. Но «славный и премудрый юбиляр» по-прежнему служит порядку и гармонии, а его нынешние потомки, проводив на покой лелеемый ими социализм, продолжают с тем же показушным рвением служить новому делопроизводству.

Юбилейное застолье превращается в откровенный шабаш подха-

лимов, сопровождающийся путаными, но очень эмоциональными гимнами в честь бюрократии. Пьяные чиновники, разгулявшись, нашли для себя сразу несколько определений: рыцари умственного поля — раз, заместители пролетариев — два, зодчие грядущего членораздельного социалистического мира — три. И все — в духе раннего А. Платонова-публициста.

Еще одна цитата: *«Вся его душа и необыкновенное чудесное сердце горят и сгорают в творчестве светлого и радостного храма человечества, на месте смрадного склепа, где жили — не жили, а умирали всю жизнь, каждый день, гнили в мертвой тоске наши темные загнанные обиды».*

Такая выморочная тирада вполне сгодилась бы для тоста на юбилее Бормотова. Но взята она не из «Города Градова», а из статьи «Ленин», написанной А. Платоновым в 1920 году — к 50-летию вождя мирового пролетариата. Написана она всерьез, с искренним восхищением.

В статье «Нормализованный человек», опубликованной в том же году, восторженный А. Платонов спел самый настоящий гимн человеку-винтику, ставшему вскоре составной частью тоталитаризма.

«Нормализованная гайка есть лучший кусок социализма, — сказал недавно т. Троцкий. — Так. А нормализованный работник — лучший коммунист... С первого вздоха два ребенка должны жить в разных условиях, соответствующих целям, для которых их предназначает общество. Если один ребенок будет со временем конструктором мостов, а другой механиком воздушного судна, то и воспитание их должно соответствовать этим целям, чтобы механик атмосферного судна чувствовал себя среди моторов в своем специфическом трудовом процессе счастливым, как в рубашке по плечам... Дело социальной коммунистической революции — уничтожить личность и родить её смертью новое живое мощное существо — общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы».

Но уже через десять лет в пьесе А. Платонова «Высокое напряжение» её герои, инженеры, которые по мысли писателя должны были конструировать новую «нормализованную» жизнь, начинают высказывать странные суждения. Один из них — «устал от исторической необходимости», другой на прямой вопрос сочувствует ли он социализму, уклончиво отвечает, что он ему «потворствует». И еще он хочет узнать социализм чувством и действием. «Советская власть еще

меня не победила, — говорит он, — а я ее побеждать уже не хочу. Может быть, мы обнимемся и упадем вместе на пустой земле».

Подобное мироощущение свойственно было нескольким поколениям советских людей, считавших, что существующий режим — это надолго, если не навсегда. Театр абсурда, созданный властью, становился бытом, а пьеса, герои которой живут с такими настроениями, разумеется, не могла быть опубликована при жизни писателя. Как и повесть «Котлован», которая своим появлением поставила бы реальному социализму суровый диагноз, а то и подписала бы протокол вскрытия.

Герою повести Вошеву в день его тридцатилетия сообщили, «что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». В реальности котлован, который рабочие всем колхозом рыли под фундамент для социализма, оказался страшной ямой, куда ухнули мечты о светлой жизни. *«Бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована».*

В этом же возрасте, что и Вошеву, и по тем же причинам был устранен из литературы и автор «Котлована». После повести «Усомнившийся Макар» и бедняцкой хроники «Впрок» официальная критика открыла по писателю пальбу на уничтожение. А. Платонов замолк надолго, но разоружаться перед партией не стал... Уже был написан роман «Чевенгур» — лучший роман XX века. Роман о маргинальном народе-пролетариате, потерявшем историческую память, утратившем даже национальные признаки, но обретшем новую коммунистическую религию. Герой романа Саша Дванов ищет в степи социализм, как гоголевский Тарас искал утерянную люльку. И не находит...

Герои «Чевенгура» в поисках правды доводят идею справедливого социализма до логического конца, то есть до абсурда. И Саша Дванов, словно пробудившись ото сна, задает себе вопрос: «А где же социализм-то?» Этот же вопрос всю жизнь задавал себе и писатель, хотя своими произведениями подписал приговор реальному социализму еще в 20-е годы.

По терминологии твердолобых большевиков, готовых штурмовать любые крепости, А. Платонов — типичный «перевертыш». Но так перевернуться от бездумной веры к прозрению, как это сделал гениальный русский писатель, дано было только ему.

В свое время рейхсканцлер Отто Бисмарк, который ввел в Германии исключительный закон против социалистов, заметил, что если

кто-то захочет построить где-нибудь социализм, то для этого надо выбрать страну, которую не жалко.

История выбрала Россию, а потом Германию...

Но мудрое предупреждение немецкого политика не уберегло от этой напасти ни Германию, ни Россию. И оттого платоновский текст стал нам доступен только тогда, когда с социализмом в России все стало ясно. Хотя его последствия придется расхлебывать очень долго.

...В Тамбове писатель жил на улице, которая носит имя какого-то мутного немецкого социал-демократа Августа Бебеля. Что поделаешь — таковы зигзаги советской топонимики.



Московский университет и Тамбовский край

Старейшее учебное заведение России Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 25 января 2005 г. отметил 250-летие со дня основания. Его роль в развитии науки и образования в мире и в нашей стране велика и высоко оценивается.

Тесно связана история Московского университета с Тамбовщиной, многие его выпускники вписали и вписывают славные страницы в дела и историю нашего края. Начнём с того, что не совсем верно утверждение мичуринского краеведа В. Д. Филатовой о том, будто первые тамбовчане, окончившие Московский университет, были из рода Рахманиновых. Ещё в 1813-1815 гг. учился в Московском университете Павел Александрович Муханов (1798-1871), тамбовский помещик, участник русско-турецкой войны 1828-1829 гг., усмиритель польского восстания 1830-1831 гг. Он писал о своем опыте хозяйствования в тамбовском имении и публиковал исторические документы в журналах «Русский архив», «Русская старина», «Русская историческая библиотека». Был членом Государственного Совета. Сведения о нём включены в книгу В. И. Федорченко «Императорский Дом», в «Тамбовскую энциклопедию» (Тамбов, 2004).

Одними из первых тамбовчан, получивших образование в Московском университете, были представители рода Рахманиновых братья Федор Иванович (ум. 1881) и Иван Иванович (1826-1897). Федор Иванович после окончания учебы с отличием работал в Петербурге и Москве: служил в Департаменте Министерства юстиции и цензором при Министерстве народного просвещения. За добросовестную службу имел орден Владимира III степени, орден Станислава и орден Анны I степени. Федору Ивановичу принадлежит идея создания книги «Исторические сведения о роде дворян Рахманиновых», вышедшей в

Киеве в 1895 г. После смерти брата её завершил профессор и ректор Киевского университета Иван Иванович Рахманинов. Он родился и умер в селе Старая Казинка Козловского уезда. Похоронен на берегу реки Воронеж, близ Ярковского лесничества. О братьях сведения приведены в сборнике «Тамбовская губерния в дневниках и воспоминаниях XVIII – начало XIX вв.» (М., 2003). Биографическая справка об Иване Ивановиче включена в «Тамбовскую энциклопедию».

В пансионе при Московском университете историю прошедших веков, все лучшее, накопленное русской и европейской культурой, усваивал юный Михаил Лермонтов, впоследствии запечатлевший облик Тамбова 30-х годов XIX века, с иронией описавший быт его высшего общества, восхитившийся одной из тамбовских красоток, женой губернского казначея Авдотьей Николаевной. Мы благодарны ему за создание «Тамбовской казначейши».

Василий Михайлович Петрово-Соловово (1850-1908), государственный и общественный деятель, окончил историко-филологический факультет Московского университета. Был крупным землевладельцем в Кирсановском и Тамбовском уездах, почетным мировым судьёй Тамбовского уезда, тамбовским уездным предводителем дворянства. Помимо этого, В. М. Петрово-Соловово — активный деятель «Союза 17-го октября», член 3-й Государственной думы от Тамбовской губернии, председатель Тамбовского отделения Российского музыкального общества. Биографические материалы о нем в «Тамбовских датах 2000» сообщают, что благодаря его заботам и денежному взносу в Тамбове сооружено по проекту Ф. А. Свирчевского здание музыкального училища, до сих пор украшающее центр Тамбова.

Другой выпускник историко-филологического факультета — Сергей Дмитриевич Урусов (1862-1937). В 1902 г. он был назначен тамбовским вице-губернатором (проработал до мая 1903). По служебным делам сталкивался с Б. Н. Чичериным, испытывал его влияние. Написал книгу «Очерков прошлого», вышедшую в Кишиневе в 1903-1904 гг. Биография Урусова вошла в энциклопедию «Политические партии России» (М., 1996), в «Тамбовскую энциклопедию».

Окончил Московский университет писатель, публицист, просветитель Александр Иванович Новиков (1861-1913), уроженец и житель с. Новая Александровка Козловского уезда, которое в 1923 г. переименовано в честь него в Новиково. Работал земским начальником, о чем издал «Записки земского начальника» в 1899 г. Открыл и содержал на собственные средства несколько земских и церковно-приходских школ.

Создал первый в России музей народного образования в своем селе.

Борис Николаевич Чичерин (1828-1904) в 1849 г. окончил юридический факультет Московского университета, а в дальнейшем стал своей «альма-матер» профессором права, отдав преподавательской деятельности 10 лет жизни. Вкладу Бориса Николаевича в науку России посвящена книга В. Д. Зорькина «Чичерин» (М., 1984). Его труды изучают современные правоведы, социологи, историки ТГУ им. Г. Р. Державина. Результатом стали материалы межрегиональной научной конференции «Духовное наследие Б. Н. Чичерина и современность» (Тамбов, 2003).

Певец Николай Иванович Сперанский (1877-1952), родившийся в Тамбове, тоже выпускник юридического факультета Московского университета. Служил в московских театрах, Тифлисской опере. В 1932-1952 гг. преподавал в Московской консерватории и музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Материалы о нем помещены в книге «Московская консерватория» (М., 1966), вышедшей к столетию этого учебного заведения; в «Тамбовской энциклопедии».

Учась на юридическом факультете, Виктор Михайлович Чернов (1873-1952) вступил в тайную организацию «Партия народного права». Через два года он был арестован и исключен из университета. После 8 месяцев в Петропавловской крепости он отбывал ссылку в Камышине, Саратове и Тамбове, где нашел свое семейное счастье, не порывая с революционной деятельностью. Недавний столичный студент провел съезд крестьян Тамбовской губернии, распространяя среди них революционные идеи, будил стремление к улучшению жизни. В 1899 году он покинул Тамбовщину, жил за границей, стал одним из идеологов и создателей партии социалистов-революционеров (эсеров). Вернувшись в Россию, был министром земледелия Временного правительства, председателем Учредительного собрания. С 1920 г. до смерти в 1952 г. жил в эмиграции. Тамбовские годы нашли отражение в его воспоминаниях «Перед бурей».

Выпускник юридического факультета Московского университета в первые годы Советской власти потомственный тамбовский дворянин Юрий Борисович Шмаров (1898-1989) посвятил свою долгую жизнь генеалогии, которой занимался параллельно с работой в прокуратуре, МУРе, Наркомземе, был юристом в местах ссылки с 1933 по 1958 год. Он — один из инициаторов создания «Общества изучения русской усадьбы», консультант многих фильмов, владелец коллекции из более двух тысяч единиц документов по истории дворян-

ства Московской и Тамбовской губерний. Теперь его коллекция по генеалогии, содержащая более тринадцати тысяч дворянских портретов и другие предметы, хранится в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве. На Тамбовщине он бывал довольно часто, посещая Курдюки Кирсановского уезда (имение матери), работал в Государственном архиве Тамбовской области. Одна из сотрудниц ГАТО Галина Ивановна Ходякова — автор воспоминаний о Шмарове «И пусть горит свеча» (Тамбов, 1998).

В Пичаево в 1923 г. родился писатель Иван Георгиевич Лазутин. Он окончил юридический факультет МГУ с отличием. Первая книга тамбовчанина «Сержант милиции» стала по тем временам бестселлером, легла в основу одноименного популярного фильма и спектаклей в нескольких театрах страны. Писатель создал еще ряд романов о Великой Отечественной войне, участником которой был сам, и о работе органов внутренних дел. На страницах произведений часто вспоминается родная тамбовская земля. В романе «Родник пробивает камни» кинорежиссер Кораблинов родился под Тамбовом, а другой герой, Артамонов, тоже выходец из Тамбовской области. Лазутин — частый гость отчей земли, поддерживает связь с музеем областного управления внутренних дел, в стенах которого проходили встречи писателя с читателями, работниками УВД. С основными вехами творчества писателя можно познакомиться в «Тамбовских датах» за 1998, 2003 гг. и в очерке Д. А. Рачкова в сборнике «Книги наших земляков» (Тамбов, 1990).

В Тамбове родился профессор Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987), академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. Окончил Московский университет в 1925 г., с которым была связана вся его дальнейшая деятельность. Колмогоров — специалист в области теории вероятности, теории функций, теории информации, теории стрельбы. Он занимался разработкой применения математических методов в биологии, математической лингвистике. Деятельное участие принимал в области математического образования. Труды математика переведены на многие иностранные языки. Его при жизни называли «математиком номер один». Сведения о земляке включены в «Тамбовскую энциклопедию», в сборник Е. А. Морозова «Наши земляки в мире науки» (Тамбов, 2000).

С 1890 года преподавал в Московском университете Владимир Иванович Вернадский (1863-1943), чье имя известно всему научному

миру и чья жизнь на протяжении длительного периода была связана с Тамбовщиной. Часто приезжая в имение отца Вернадовку, где теперь воссоздается усадьба владельцев в Пичаевском районе, он участвовал в земском движении Моршанского уезда и Тамбовской губернии. С 1892 года периодически избирался гласным губернского земства. Из его писем к жене известно, что он боролся за сохранение школ и больниц для жителей края. В июне 2003 года на здании, в котором он выступал в защиту образования и здравоохранения (теперь один из корпусов Тамбовского государственного технического университета) установлена мемориальная доска. О связях ученого рассказывается в книге «В. И. Вернадский и Тамбовский край» (М., 2002).

Уроженец Моршанска Александр Александрович Михайлов (1888-1983), астроном, Герой Социалистического Труда, в 1911 г. окончил физико-математический факультет Московского университета, с 1918 г. — профессор этого же университета. В 1947-1964 гг. был директором Пулковской обсерватории. Награжден тремя орденами Ленина, был академиком АН СССР, заслуженным деятелем науки РСФСР. Занимался теорией затмений, изучением Луны, составлением звездного атласа. О нем можно узнать в «Тамбовской энциклопедии», указателе «Деятели науки и техники Тамбовского края» (Тамбов, 1987).

На физико-химическом факультете Московского университета учился Андрей Петрович Трапани (1908-1979), посвятивший свой талант тамбовским маленьким и взрослым театральным зрителям, подарив незабываемые спектакли кукольного театра по пьесам Е. Шварца. Впервые в стране он поставил в театре кукол трагедию А. С. Пушкина «Каменный гость». Теперь имя Трапани увековечено на мемориальной доске, установленной в 2004 г. на доме у театра, где он жил с женой, известным театроведом, поэтом, мемуаристом Симоной Густавовной Ландау и сыном Сергеем, унаследовавшим у родителей любовь к театру и воспитанию юного поколения. Рукопись вдовы Андрея Петровича о муже доступна читателям областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

Выпускница филологического факультета МГУ Лариса Васильевна Полякова — родом из Староюрьево. Она много лет возглавляет кафедру истории русской литературы в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина, изучает творчество Е. И. Замятина, уроженца «певучей» Лебедяни Тамбовской губернии, проводит конференции и издает материалы о нашем земляке С. Н. Сергеевце-Ценском, организует проведение Державинских чтений с новыми ис-

следованиями тамбовских филологов. Её многогранной деятельности посвящено издание материалов к биографии «Л. В. Полякова» (Тамбов, 2002).

В тамбовских средствах массовой информации несли и несут знания жителям области выпускники факультета журналистики Московского университета. В 1962 г. окончил МГУ Евгений Федорович Перекальский (1931-1997) — журналист «Кирсановской коммуны», «Комсомольского знамени», «Тамбовской правды», лауреат областной премии имени И. А. Гаврилова.

Галина Валерьевна Юдахина — журналист с многолетним стажем, смелыми и оригинальными взглядами на современные проблемы жизни края и мира. Она начинала в областной газете «Тамбовская правда», была редактором газеты «Гала-клуб», в настоящее время возглавляет еженедельник «Наедине». Рядом с ней все эти годы работает и её муж, также выпускник МГУ Александр Ставриецкий.

В «Тамбовскую правду» распределился после окончания журфака МГУ Пётр Иванович Казанок, а его жена Екатерина Николаевна — в «Комсомольское знамя». Сейчас Пётр Иванович продолжает трудиться в той же газете (теперь — «Тамбовская жизнь»), а Екатерина Николаевна — редактор детской газеты «Ровесник».

По направлению после окончания факультета журналистики МГУ приехал в Тамбов и сибиряк Николай Наседкин. Он работал в областной молодёжной газете «Комсомольское знамя». В Тамбове он вырос из журналиста в писателя, стал автором первой в мире энциклопедии «Достоевский», нескольких книг прозы, изданных в столичных издательствах. Его перу принадлежит книга по истории тамбовской литературы «От Державина до...», очень нужная в познании литературного краеведения. С недавних пор Николай Николаевич возглавляет Тамбовскую писательскую организацию.

Известный радиожурналист Лариса Анатольевна Шмелева тоже выпускница МГУ. Её еженедельную «Тамбовскую лиру» всегда с нетерпением ждут радиослушатели.

Кроме названных лиц, судьбы ещё десятков тамбовчан были связаны с Московским университетом. Здесь учился губернатор Александр Михайлович Безбородов (1783-1871), философ из Моршанска Игорь Сергеевич Нарский (1920-1993). Можно назвать немало имён врачей, окончивших медицинский факультет. Среди них Владимир Петрович Сербский, возглавлявший в Тамбове лечебницу для душевных больных; Михаил Васильевич Асеев, однокашник А. П. Чехова

по университету, оставивший потомкам свой дворец в Тамбове на Набережной, где лечатся до сих пор кардиологические больные; известный гинеколог Владимир Федорович Вамберский.

И, конечно, сейчас, в наши дни, многие юные тамбовчане пополняют ряды студентов Московского государственного университета. Им ещё предстоит умножить славу как альма-матер, так и родного края.

Людмила ПЕРЕГУДОВА,
заведующая сектором краеведческой библиографии
областной библиотеки имени А. С. Пушкина.



Литературно-художественное издание

ТАМБОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

№ 2 (май 2006)

Компьютерная вёрстка и дизайн – **Н. Наседкин**
Корректор **Н. Загороднева**

Подписано в печать 20.04.2006 г.
Формат 60x84^{1/16}. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 15,0.

Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство Тамбовского отделения ОООП «Литфонд России»
392602, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14.
Тел. 53-50-77; 72-70-32
E-mail: postmaster@mar.tstu.ru

Отпечатано в ОАО «Тамбовская типография
“Пролетарский светоч”»
392600, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14а.

**Издательство
Тамбовского отделения ОООП
«Литфонд России»**

Издание книг, брошюр, каталогов

**БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО,
ЗА УМЕРЕННУЮ ЦЕНУ**

Наш адрес:

392602, г. Тамбов,
Моршанское шоссе, 14, оф. 71

Тел. 53-50-77; 72-70-32

E-mail: postmaster@mar.tstu.ru